Мария Елифёрова

# #панталоныфракжилет

## Что такое языковые заимствования и как они работают

Серия PRIMUS

Книжные проекты Дмитрия Зимина

ЭВОЛЮЦИЯ

АНО Альпина нон-фикшн

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Что такое языковые заимствования? Эта тема, несомненно, волнует каждого из нас. Ее обсуждают в школе, в учебниках, в научной литературе и на интернет-форумах. Вместе с тем популярные экскурсы в область заимствований, выходящие в России, сводятся по большей части к теме иностранных слов в русском языке. А вот что такое заимствование вообще, по каким признакам мы его отличаем, почему оно возникает в языке, почему ему сопротивляются – книги об этом пока не было. Этот пробел и попыталась восполнить филолог-англист Мария Елифёрова. Показывая, как взаимодействуют между собой языки и как складываются судьбы заимствований (речь идет не только о словах), автор, наряду с примерами из русской культуры, истории и литературы, обращается к французскому, немецкому, испанскому и более экзотическим языкам из самых разных уголков земного шара. Эта информационно насыщенная и серьезная книга счастливо сочетает глубину научного анализа с доступным живым изложением, юмором и лояльностью по отношению к бунтарям и нарушителям норм и канонов.


- Мария Елифёрова
  - ○
  - ○
  - ○ Предисловие
  - ○ 1. Шишков, прости… О страхе перед заимствованиями и языковом пуризме
  - ○ 2. Слова и вещи, или Для чего эльфу пейджер
  - ○ 3. Глагол жжот!
  - ○ 4. Колпак, противень и рында: Как расколоть иностранного агента
  - ○ 5. Верблюдослон, разрезанный омнибус и NADSAT: похождения слов
    - ■
    - ■ 1. Сдвиг значения
    - ■ 2. “Раздвоение” слова
    - ■ 3. Путешествие слов за границу и обратно
    - ■ 4. Зверинец Франкенштейна
    - ■ 5. Смена “социального статуса”
  - ○ 6. Это не мое кофе, или Кто боится трансгендеров?
  - ○ 7. Инсульт туники, или Ложные друзья переводчика
  - ○ 8. “Скажи: Которая Татьяна?” Немного об именах собственных

- 
- 1. Древнейший и самый очевидный путь – смена вероисповедания
- 2. Короли – законодатели мод

○ 9. И всё это тоже слова!
- 1. Междометия
- 2. Местоимения
- 3. Предлоги
- 4. Союзы и союзные слова
- 5. Частицы

○ 10. Папа, лошадист поехал!
- 
- 1. Корни
- 2. Суффиксы
- 3. Приставки

○ 11. Очарованная личность не в силах сосредоточиться
- 
- 1. Морфологические, или словообразовательные, кальки
- 2. Семантические кальки

○ 12. Подъезжая к сией станцыи… у меня слетела шляпа

○ 13. Волк в овечьей шкуре на ярмарке тщеславия
- 
- 1. Библеизмы
- 2. Античная фразеология
- 3. Языки Нового времени

○ 14. Левиафан, Фантомас и магистр Йода: В мире культурных аллюзий

○ Заключение

• notes
- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14

- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58

- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102

- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146

- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190

- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226

# Мария Елифёрова #панталоныфракжилет: Что такое языковые заимствования и как они работают

Научный редактор *Александр Пиперски*
Редактор *Роза Пискотина*
Иллюстрации *Олега Добровольского*
Художественное оформление и макет *Андрея Бондаренко*
Издатель *П. Подкосов*
Руководитель проекта *И. Серёгина*
Корректоры *И. Астапкина, Е. Чудинова*
Компьютерная верстка *А. Фоминов*
Оформление обложки и макет *А. Бондаренко*

© Елифёрова М., 2020
© Добровольский О., иллюстрации, 2020
© Бондаренко А., художественное оформление, макет, 2020
© ООО “Альпина нон-фикшн”, 2020

*Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.*

*Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.*

* * *

СЕРИЯ PRIMUS

Серию PRIMUS
составят дебютные просветительские
книги ученых и научных журналистов.
Серия появилась благодаря совместной
инициативе “Книжных проектов Дмитрия Зимина”
и фонда “Эволюция” и издается при их поддержке.
Это межиздательский проект:
книги серии будут выходить в разных издательствах,
но в едином оформлении.
На данный момент в проекте участвуют
два издательства, наиболее активно
выпускающих научно-популярную литературу:
CORPUS и АЛЬПИНА НОН-ФИКШН.

Книжные проекты
Дмитрия Зимина

ЭВОЛЮЦИЯ

# Предисловие

Тема заимствованных слов по какой-то причине, несомненно, глубоко волнует нас. Ее поднимают в школьных учебниках русского языка, в пособиях по стилистическим нормам речи, в книгах по истории языков, в популярно-занимательной литературе (такой, например, как замечательная брошюра Н. А. Еськовой, которая так и называется – “Популярная и занимательная филология”)[1].

Вместе с тем популярные экскурсы в область заимствований, выходящие в России, отличаются некоторой однобокостью – они, как правило, пишутся филологами-русистами, причем в рамках либо истории русского языка, либо нормативных пособий по культуре речи. О самом существовании такого явления, как языковые заимствования, широкий читатель узнаёт впервые из школьного учебника по русскому языку. В результате сложнейший и интереснейший феномен языковых заимствований сводится к проблеме “иностранных слов в русском языке”. Нередко авторы учебников и научно-популярной литературы ограничиваются констатацией того, что в такие-то исторические эпохи в русский (реже другой) язык вошли определенные слова и что многие столь привычные нам слова – чужестранцы: *огурец, каблук, шуба* и т. д. Часто к тому же начинается дискуссия о том, стоит ли употреблять иностранные заимствования и как к ним относиться: это ужас-ужас-ужас или вполне нормальное явление? Обсуждения эти обычно заканчиваются выводом, что, с одной стороны, заимствования обогащают язык и без них не обойтись, с другой стороны, злоупотреблять ими вредно, потому что избыточные заимствования засоряют и портят родную речь[2]. Но как определить, какие заимствования избыточны, а какие нет? И как вычислить “процент”, выше которого язык можно считать испорченным? Предполагается, что человек, слыша слово, не только способен мгновенно интуитивно определять, “свое” оно или нет, но и решать, не испортит ли оно родной язык. Иногда так и происходит. Но на чем основываются эти интуитивные догадки? И всегда ли они верны? Это один из вопросов, размышления над которыми побудили меня затеять этот труд.

Ни одной общедоступной книги о заимствованиях еще не написано – по крайней мере, для российского читателя. Поиск в “Гугле” выдает огромное количество специальной научной литературы об английских заимствованиях в русском языке, русских заимствованиях в бурятском, персидских в китайском и т. д., – но не о природе и динамике самого явления. Правда, была

на эту тему замечательная публичная лекция Светланы Бурлак[3]. Что же касается научно-популярных книг, надо отметить “Русский язык на грани нервного срыва” М. А. Кронгауза[4], где сделан ряд любопытных наблюдений о том, как функционируют заимствования. Но у Кронгауза эта тема рассматривается в числе других сдвигов языковой нормы (сленга, интернет-жаргона, бранной лексики и прочего). Анализу судеб отдельных заимствований посвящен ряд эссе в сборнике И. Б. Левонтиной “О чем речь”[5], которые ранее выходили в форме газетных колонок “Ворчалки о языке”. Но что такое заимствование вообще, по каким признакам мы его отличаем, почему оно возникает в языке, почему ему сопротивляются – книги об этом пока нет. Мне же всегда казалось, что, если не существует книги, которую мне хотелось бы прочитать, – значит, ее нужно написать. Итак, я попробую это сделать.

Тут не обойтись без некоторых важных оговорок, как сейчас говорят в интернете, *дисклеймеров* (тоже заимствованное слово). Эта книга – не о происхождении слов, хотя отчасти и затрагивает этимологические вопросы. Для справок о происхождении слов существуют соответствующие словари. Этимология, стремясь докопаться до того, что было “в самом-самом начале”, неизбежно вынуждена упираться в реконструкции доисторических праязыков, которые, понятное дело, имеют гипотетический характер. Здесь эта тема подниматься не будет. Эта книга также не является энциклопедией заимствований и не ставит цель перечислить все заимствования или хотя бы дать их исчерпывающую классификацию. Поэтому не стоит ловить автора на упущениях – мол, в книге не упомянуто то-то и то-то. Задача книги – показать, как взаимодействуют между собой языки, как возникают заимствования, что именно заимствуется (вовсе не только слова!) и как складывается судьба заимствований в истории. Тем читателям, которые подробно интересуются происхождением конкретных слов русского языка, рекомендую книгу В. В. Виноградова “История слов”[6], а также этимологические словари М. Фасмера[7] и П. Я. Черных[8].

Кроме того, следует подчеркнуть, что, хотя природу и механизмы заимствований я буду в первую очередь иллюстрировать примерами из русского – потому что книга адресована русскоязычной аудитории, – мои размышления посвящены не русскому языку, а языку вообще. Моя основная специальность – английский язык, и здесь он на втором месте по количеству использованных примеров. Я привлекаю также французский, немецкий, испанский и более экзотические языки из разных уголков земного шара.

Основное внимание в книге уделяется современным языкам, хотя время от времени придется делать экскурсы в Античность и Средневековье. Поскольку книга адресована неспециалистам и, возможно, людям без гуманитарного образования, для удобства читателей греческие слова передаются латинским алфавитом, а древнерусские и старославянские – по упрощенной системе, но с сохранением букв *ъ, і,* Ѣ (такая практика бытовала в советское время).

Многие люди интересуются историей языка; запросы “откуда происходит слово” или “заимствования в языке” чрезвычайно популярны в Рунете. К сожалению, популярны и некачественные источники информации – от устаревшей школьной литературы до откровенных городских легенд. В этой книге я старалась по возможности давать ссылки на квалифицированную литературу, написанную профессиональными специалистами по языкознанию. Допуская, что иных читателей может нервировать большое количество ссылок на иностранные источники, в основном на

английском языке, я привожу их в конце книги. К тому же в современной научно-популярной литературе по биологии и медицине это норма.

И конечно же, автор предвидит критику со стороны собратьев по филологической профессии – поскольку, как любая научно-популярная работа, моя книга затрагивает огромное количество материала, который лучше знаком узким специалистам, и имеет дело с небесспорными концепциями и выводами. Я готова прислушаться к замечаниям, а также приветствую любые альтернативные попытки рассказать читателям о языке с других точек зрения.

Мои благодарности:

● Сергею Ястребову, биологу и научному журналисту портала Elementy.ru, за интерес к рукописи моей книги и помощь с поиском издателя;

● Павлу Подкосову, руководителю издательства “Альпина нон-фикшн”;

● Ирине Фуфаевой, научному сотруднику Института лингвистики РГГУ, уступившей мне приоритет в написании этой книги, когда мы обсуждали с ней идею;

● всем коллегам и подписчикам моих страничек в “Фейсбуке” и ЖЖ, помогавшим мне с консультациями и материалами, поскольку я не смогла каждого отдельно поблагодарить в сносках.

*Мария Елифёрова, декабрь 2019 г.*

# 1. Шишков, прости… О страхе перед заимствованиями и языковом пуризме

Каждый раз, когда заходит разговор о заимствованиях и их роли в языке, с неизменным автоматизмом возникают две литературные реминисценции. Первая – знаменитое двустишие из “Евгения Онегина”:

> Но панталоны, фрак, жилет –
> Всех этих слов на русском нет.

Эта фраза превратилась в мем еще до изобретения слова *мем* (тоже заимствования), и я не могла удержаться, чтобы не процитировать ее в заглавии книги – она замечательна именно своей опознаваемостью: увидев ее, читатель сразу поймет, о чем идет речь. Более продвинутые участники обсуждения темы вспоминают также: “Шишков, прости: / Не знаю, как перевести”.

Второй литературный мем связан как раз с упомянутым Шишковым, о котором традиционно сообщается, что он предлагал переименовать *калоши* в *мокроступы*[9]. Очевидная эстетическая и стилистическая нелепость этого слова комментариев не требует и именно поэтому призвана служить иллюстрацией нежелательных крайностей языкового пуризма.

К сожалению, при изложении сюжета с *мокроступами* никто не ссылается на источник. Где и когда А. С. Шишков высказался по этому поводу? В журнальной статье, в письме, в дневнике, в частной беседе? Если устно, то откуда взяты эти сведения – из мемуаров какого-то знакомого? В общем, задача непростая. О роли Шишкова в литературной жизни пушкинской эпохи и о том, каких взглядов он придерживался на русский язык, написана обстоятельная работа Ю. Н. Тынянова “Архаисты и Пушкин”[10], которая и поныне очень авторитетна. Но как раз история с *мокроступами* там отсутствует.

Фигура Шишкова во многом мифологизирована, как и сама полемика между шишковистами и карамзинистами. И надо сказать, к мифологизации отчасти приложил руку и сам Шишков, используя недобросовестные приемы полемики, которые мы бы сейчас назвали битвой с бумажными тиграми. Так, современный литературовед О. А. Проскурин установил, что в своей полемической статье против карамзинистов “Рассуждение о

старом и новом слоге” Шишков цитировал не Карамзина и его последователей, а забытого ныне графомана, имевшего мало отношения к карамзинской школе[11].

Однако склонность к подлогам сыграла с Шишковым злую шутку: похоже, он сам пал жертвой клеветы. В “Рассуждении” никаких калош и мокроступов не фигурирует. К счастью, в наше время существуют интернет и электронные базы данных. Попытка уточнить, где и когда Шишков высказал такое предложение, привела к неожиданному результату: *мокроступов* в текстах Шишкова не обнаружилось!

Источником недоразумения, как выяснилось, является рецензия В. Г. Белинского на сборник “Сто русских литераторов”, написанная в 1841 г. (сейчас текст легко найти в интернете):

> Нам скажут, что явления идеи и слова единовременны, ибо ни слово без идеи, ни идея без слова родиться не могут. Оно так и бывает; но что же делать, если писатель познакомился с идеею чрез иностранное слово? – Приискать в своем языке или составить соответствующее слово? – Так многие и пытались делать, но немногие успевали в этом. Слово *круг* вошло и в геометрию как термин, но для *квадрата* не нашлось русского слова, ибо хотя каждый квадрат есть четвероугольник, но не всякий четвероугольник есть квадрат; а заменить *хорду веревкою* никому, кажется, и в голову не входило. Слово *мокроступы* очень хорошо могло бы выразить понятие, выражаемое совершенно бессмысленным для нас словом *галоши*; но ведь не насильно же заставить целый народ вместо *галоши* говорить *мокроступы*, если он этого не хочет. Для русского мужика слово *кучер* – прерусское слово, а *возница* такое же иностранное, как и *автомедон*. Для идеи *солдата, квартиры* и *квитанции* даже и у мужиков нет более понятных и более русских слов, как *солдат, квартира* и *квитанция*. Что с этим делать?

Как мы видим, Белинский не цитирует слова Шишкова – он пародирует его подход к языку, предлагая сконструировать слово *мокроступы*. Он и не утверждает, будто Шишков придумал это слово. На момент, когда писалась рецензия, Шишков был уже мертв, а полемика шишковистов с карамзинистами отошла в область истории литературы. Но последующие поколения истолковали этот текст как прямое свидетельство о языкотворческих экспериментах Шишкова.

Распространился этот миф, по-видимому, благодаря В. П. Авенариусу, автору беллетризированной биографии Пушкина:

> – Вот это, пожалуй, всего вернее, – согласился Жуковский. – Но тут вы, Вильгельм Карлыч, уж отступили несколько от Шишкова. А мало ли у нас совсем иностранных слов? Не имея никакой возможности приурочить их к славянщине, шишковисты изгоняют их вовсе из родной речи и заменяют словами собственного изобретения. Так: проза у них – говор, номер – число, швейцар – вестник, калоши – мокроступы, бильярд – шарокат, кий – шаропих.
>
> *(“Юношеские годы Пушкина”, 1888)*

Для Авенариуса, который на момент смерти Шишкова был

двухлетним младенцем, а Пушкина и вовсе не застал, эта эпоха – что-то из области мифов и легенд. Он и обращается с ней как с мифом.

Так что, Шишков, прости. В *мокроступах* ты не повинен. Языковой пуризм, однако, вполне реальная вещь, и существует страна, в которой по части выдумывания слов перещеголяли Шишкова. Речь идет об Исландии. Исторически процент заимствованных слов в исландском языке всегда был низок, а после обретения страной независимости их принялись целенаправленно изгонять, придумывая им замены на местной основе. Обратимся к крупнейшему знатоку исландского языка – М. И. Стеблину-Каменскому:

> Огромное большинство исландских новообразований – это сложные слова, составленные из двух, реже из трех и больше слов, существовавших в языке и раньше. Такое сложное слово нередко представляет собой перевод греческих или латинских элементов, из которых состоит иностранное слово, обозначающее данное понятие. Другими словами, такое сложное слово нередко калькирует соответствующее иностранное слово, состоящее из греческих или латинских элементов. Однако в то время как в языке, из которого это слово заимствовано, его “внутренняя форма” (т. е. его этимологический состав) понятна только тому, кто знает классические языки, в исландском она понятна любому исландцу. Другими словами, у такого исландского новообразования живая внутренняя форма. Так, например, говорящий на русском языке, как правило, не знает, что слово “космонавт” восходит к греческим словам kósmos “мир, небо” и naútēs “мореплаватель”; “метеорология” – к греческим metéōra “небесные явления” и lógos “слово”; “микроскоп” – к греческим mikrós “маленький” и skopeîn “смотреть”; “прогресс” – к латинским pro- “вперед” и gressus “шаганье, ходьба”. Между тем всякому исландцу понятно, что geimfari “космонавт” происходит от geimur “небесное пространство” и fari “ездок”, veðurfræði “метеорология” – от veður “погода” и fræði “знание”, smásjá “микроскоп” – от smár “маленький” и sjá “смотреть”, framsókn “прогресс” – от fram “вперед” и sókn “продвижение, наступление”. Часто, однако, перевод компонентов иностранного слова далеко не буквален: компоненты исландского слова нередко описывают

понятие более полно или более образно, чем греческие или латинские компоненты соответствующего иностранного слова. Так, например, по-исландски “электричество” (от греческого ḗlektron “янтарь”) – это “сила янтаря” (rafmagn, от raf “янтарь”, magn “сила”), “истерия” (от греческого hystéra “матка”) – это “материнская болезнь” (móðursýki, от móðir “мать”, sýki “болезнь”), “витамин” (от латинского vita “жизнь” и amin название химического вещества) – “вещество жизни” (fjörefni, от fjör “жизнь”, efni “вещество”). Но всего чаще исландское новообразование состоит из компонентов, которые описывают обозначаемое ими понятие по-своему, а не калькируют соответствующее иностранное слово. Другими словами, внутренняя форма у этих слов не только живая, но и совсем иная, чем у их иностранных соответствий. Вот примеры таких слов: skellinaðra “мотороллер” (от skella “трещать”, naðra “гадюка”), kvikmynd “кинофильм” (от kvikur “живой”, mynd “образ”), hugmynd “идея” (от hugur “ум”, mynd “образ”), skriðdreki “танк” (от skrið “ползание”, dreki “дракон”), lágmark “минимум” (от lágur “низкий”, mark “метка”), tröllepli “дыня” (от tröll “великан”, epli “яблоко”), vígorð “лозунг” (от víg “бой”, orð “слово”), þjóðnýting “национализация” (от þjóð “народ”, nýting “использование”), stjórnskipunarlög “конституция” (от stjórn “управление”, skipun “устройство”, lög “закон”), dagblað “газета” (от dagur “день”, blað “лист”), skopstæling “пародия” (от skop “насмешка”, stæling “подражание”), knattspyrna “футбол” (от knöttur “мяч”, spyrna “пинок”), eldflaug “ракета” (от eldur “огонь”, flaug “полет”). Таких новообразований в современном исландском многие тысячи[12].

Чувствуется легкая зависть русского автора к исландцам, которым удалось то, что не удалось Шишкову. Хотя придирчивый языковед заметил бы, что, например, слово *dreki* “дракон” – заимствование из греческого, и тогда уж следовало бы использовать исконное исландское *ormur* (но вот беда, у него также есть значение “червяк”, совсем неподходящее для танка).

Приверженцами языкового пуризма проявляют себя в наше время французы, столкнувшиеся с беспрецедентной ситуацией – во второй половине прошлого века в их язык хлынул поток английских слов. До этого заимствования шли почти исключительно в обратном направлении. Французы чувствовали

себя законодателями моды в культуре, а англичан рассматривали как варваров и пресекали всякие поползновения инородцев на корню. Так в 1829 г. за попытку поставить в одном из парижских театров неадаптированную версию пьесы Шекспира актеров чуть не побили – настолько задеты оказались представления парижан о высокой культуре (ничего не напоминает, дорогой читатель?). И вдруг роль законодателей моды перехватили не только англичане, но и, о ужас, американцы! Нацией овладела идея, что французский язык надо срочно спасать. Указом от 3 июля 1996 г. была создана Генеральная комиссия по терминологии и неологизмам, которая тут же принялась бороться с заимствованиями[13]. Я тогда училась в старших классах школы, в которой вторым иностранным языком был французский. Это и в самом деле незабываемый опыт – в одночасье узнать, что теперь нужно учить новые французские слова вместо тех, которые вы знаете по учебнику!

Особую ненависть французских пуристов почему-то вызывало слово “компьютер” (*computeur*), который с тех пор официально предписано именовать “ординатором” (*ordinateur*). Слово *ordinateur* в значении “компьютер” появилось как минимум с 1955 г., но многие носители французского языка предпочитали говорить *computeur*. Некоторые продолжают сопротивляться нововведению и сейчас: в самом деле, не называть же компьютерную музыку “ординаторной”[14].

Ирония ситуации заключается в том, что английское слово *computer* – сравнительно позднее латинское заимствование, о чем можно догадаться по его форме и звучанию. Оно образовано от глагола *to compute*, то есть непосредственно перенесенного в английский язык латинского *computare* “вычислять”. Так что не очень ясно, чем “компьютер” хуже “ординатора” – такого же латинского заимствования.

Вместе с тем французы почему-то не возражают против слов “буржуа” (*bourgeois*, от германского *burg*, “город”; ср. англ. *borough, Edinburgh*), “синий” (*bleu*, англ. *blue*) или “пиво” (*bière*, англ. *beer*). Это несомненные заимствования, хотя и очень давние, восходящие к эпохе древних франков. Придирчивый лингвист, конечно, назвал бы их не заимствованиями, а субстратом – они остались с тех пор, как древние франки перешли на народную латынь, но сохранили кое-какие слова из своего прежнего языка. Заметим, их нефранцузское происхождение все еще очевидно: они легко узнаются в словах германских языков с теми же значениями, в том числе в английском. Но гонений на них никто не устраивает. Все это наводит на мысль, что наше восприятие субъективно и торопиться с выводами о том, заимствовано ли

слово и портит ли оно язык, не стоит.

Попробуйте определить, какие слова из этого списка являются заимствованиями:

шрифт
менеджер
книга
богатырь
роза
академик
ябеда
сундук
монитор
вино
лошадь
мерчандайзинг
шапка
сарафан
бумага
иллюстрация

Правильный ответ – все. Вне сомнения, любой читатель сразу выловит *менеджера, монитор, мерчандайзинг* и *иллюстрацию*, кое-кто вспомнит из учебника, что *сундук* и *богатырь* – тюркского происхождения, но далеко не каждому известно, что *шапка, вино, бумага* и *книга* – тоже заимствования. *Шапка* родственна французскому *chapeau* (с тем же значением) и восходит к латинскому *cappa* “головной убор”; *вино* – от латинского *vinum; бумага* происходит от тюркского *pamuk* “хлопок” (да-да, это растение – однофамилец писателя Орхана Памука); даже привычная нам *книга* восходит к китайскому, хотя точные пути проникновения этого слова в славянские языки еще не установлены[15].

Однако реакцию эти слова вызывают разную. Никому не приходит в голову воевать со словами *книга* или *бумага*. Даже *иллюстрация*, хотя ее иностранный облик очевиден, возражений не вызывает. А вот *мерчандайзинг* почти наверняка вызовет настороженность: что это еще, мол, придумали?

Существуют два несколько наивных объяснения страха перед заимствованиями. Первое – что слова, обозначающие данные предметы или явления, “уже и так есть в языке”: мол, зачем говорить *аудит*, если есть *проверка*? С этой точки зрения употребление иностранных слов – просто ненужное стремление “говорить красиво”. Однако слово заимствуется, как правило, потому, что привносит какой-то новый оттенок смысла, которого

у исконного слова не было. Это наглядно демонстрируют, например, работы М. А. Кронгауза и И. Б. Левонтиной: *бизнесмен* звучит более емко, чем *предприниматель*, а *шопинг* – не совсем то же, что *поход за покупками* в прежнее время[16].

Вторая, более тенденциозная, гипотеза заключается в том, что “красивые” иностранные слова служат маскировке неприглядных реалий, придавая им респектабельный вид. Особенно любят в связи с этим приводить слово *киллер*, утверждая, будто оно придумано для того, чтобы не называть убийцу убийцей и затушевать таким образом смысл его ремесла. Так, учебник Розенталя в постсоветской редакции цитирует слова академика Е. П. Челышева, жалующегося на “тотальную американизацию” русского языка:

> Например, совершенно неприемлемо пришедшее из американского английского языка слово “киллер”, в котором размыта негативная оценка, содержащаяся в русском слове “убийца”. Сказать человеку “ты убийца” – это вынести ему суровый приговор, а назвать его киллером – это как бы просто определить его профессию: “я – дилер, ты – киллер, оба вроде делом занимаемся”[17].

Ему вторят авторы более свежей книги по теме языковых норм:

> в этом отношении существительное *киллер*, относительно недавно… появившееся в русском языке. В той лингвокультуре, откуда пришло это имя, оно овеяно романтическим флером. Можем назвать с десяток кинофильмов Голливуда со звездами первой величины, повествующих о благородных киллерах, которые делают свою трудную и неблагодарную работу… Сейчас подобная продукция появляется у нас. Правда, несмотря на свою популярность, такие фильмы, как, скажем, “Брат” или “Бригада”, все же вызывали некоторые моральные сомнения даже у тех, кому они понравились. Режиссерам и актерам приходилось оправдываться, объяснять, как надо понимать образы созданных ими героев. Эти оправдания принимались, потому что *бригада* не *банда*, а *киллер* не *душегуб*… сложно опоэтизировать благородного убийцу, еще лучше – честного и мужественного наемного душегуба[18].

Второй пассаж особенно удивителен. “Можем назвать с десяток кинофильмов Голливуда со звездами первой величины”, но отчего-то не называем ни одного. Мне из фильмов со звездами первой величины, где главный герой – вызывающий сочувствие киллер, в первую очередь вспоминается французский шедевр “Леон” Люка Бессона с Жаном Рено в главной роли. Надо ли говорить, что во французском языке слова *killer* нет? По-французски есть *tueur à gages* – “наемный убийца”, так что в фильме вещи называются своими именами. Французы бы обиделись, если бы их заподозрили во влиянии “романтического флера” английского слова.

Впрочем, оно даже и не совсем английское. Академику Челышеву, востоковеду по специальности, простительно считать, будто оно пришло к нам “из американского английского”. (Интересно, кстати, почему именно из американского? Из-за ассоциации “американского” с чем-то вредным и враждебным?) На самом деле в американском английском наемного убийцу называют *hitman*. В британском название несколько ближе – *contract killer*, но вторая часть отдельно в этом значении не употребляется. Слово *killer* – нейтральное, означающее “тот, кто убил/убивает”, оно широко известно хотя бы по названию косатки *killer whale*, “кит-убийца”, и с равным успехом может применяться к неодушевленным объектам, например эпидемиям инфекционных болезней[19]. Русское слово *киллер* в его профессиональном прочтении – типичный псевдоанглицизм, казус, описанный в англоязычной литературе по языкознанию. Он

известен и в итальянском[20]. Как ни относиться к романтизации наемных убийц, американская “лингвокультура” в ней не виновата.

Что касается идеи, будто слово *киллер* придумано с целью завуалировать нежелательное явление и не называть убийцу убийцей, она относится к области чистого фельетона, а не языкознания. Невозможно себе представить, чтобы кто-то кому-то с почтением говорил: *Ты киллер*. Столь же невероятно, чтобы реальный преступник представлялся при знакомстве в респектабельном обществе: *Я киллер*. Зато это слово оказывается весьма полезным журналисту или следователю, так как содержит важную дополнительную информацию. В самом деле, *убийца* слишком общее слово (убийцей может быть и алкоголик, который стукнул соседа бутылкой по голове), нужно указать на конкретный вид преступления – заказное убийство. Особенность *киллера* в том, что он выполняет чужое поручение, и полиция обязана искать также и заказчика. Хотя в русском языке было выражение *наемный убийца*, оно отдает неуместными ассоциациями из исторических романов – мерещатся какие-то плащи, шпаги и перстни с ядом, не имеющие отношения к современным реалиям. К тому же язык при прочих равных обычно выбирает более короткое наименование.

Так что бессмысленно упрекать слово *киллер* в том, что оно не выражает моральной оценки – оно для этого не предназначено. (И, кстати, почему у ревнителей нравственности не вызывают отторжения *благородные разбойники*? Неужели они полагают, что Робин Гуд и Стенька Разин, как в мультфильмах, никого не убивали?)

Большинство же заимствований обозначают вполне невинные вещи: ну кому и чем мешает деятельность *эйчара, копирайтера* или *криейтора*? И все-таки реагируют на них весьма бурно.

Любопытно, что абсолютно во всей литературе, посвященной речевым нормам, заимствования оказываются в одном ряду с жаргоном. Хотя многие жаргонные слова исконно русского происхождения – криминальные *наехать, беспредел, замочить* или молодежные *отвязный, предки, круто*. И тем не менее, когда речь заходит о “порче” или “засорении” языка, обвиняют “иностранные слова и жаргон”. То и другое ощущается как принадлежащее к одной категории. Не зря на портале “XXII век” появился диптих Ирины Фуфаевой – статьи “«Почему нельзя сказать то же по-русски?», или О мифе порчи языка заимствованиями”[21] и “О мифе порчи языка. Часть 2. Словечки «с площади»”[22]. Выходит, и лингвисту, изучающему языковой пуризм, эти два страха – страх перед заимствованиями и страх

перед жаргоном – интуитивно видятся как явления одного ряда.

Может быть, разгадка проста, и иностранные заимствования пугают нас просто потому, что эти слова **новые**? Людям свойственно бояться нового[23]. У психологов есть для этого явления специальный термин – неофобия. Страх перед новизной имеет глубокие эволюционные корни: новое может быть потенциально опасным. Так, мышам и крысам неофобия помогает избежать ловушек и отравленных приманок[24]. Но стоит ли нам брать пример с крыс? Кому и когда повредили новые слова, даже если они звучат неуклюже? Если же эти новые слова обозначают неприятные явления, то, может быть, бороться стоит не со словами?

Как это ни парадоксально, неофобия иногда наносит удар замыслам пуристов – когда предлагаемое ими "исконное" слово ощущается как более новое и непривычное, чем иностранное. Так, французской Комиссии по терминологии не удалось внедрить замену уже привычного *e-mail* на *mél*[25]. А вот исландцы успешно внедрили название для компьютера *tölva* – от *tala* "число" и *völva* "прорицательница" (Льюис Кэрролл завидует в гробу!). Правда, при этом они не смогли отделаться от заимствований в словах *tölvupóstur* "электронная почта" (*póstur,* как и русское *почта*, заимствовано из латинского *positus* "гонец") и *diskur* "диск" (заимствовано из греческого *dískos* "тарелка" или "спортивный снаряд такой формы").

Опыт исландцев и французов часто служит аргументом в пользу того, что нужно “спасать язык”: дескать, раз уж у них там на Западе так делают, то нам стоит у них поучиться – исландцы и французы не дураки. Но вот забавно – на западный опыт в данном случае больше всего любят ссылаться те, кто к Западу испытывает антипатию и именно поэтому рассматривает иностранные слова как “засорение” языка.

Предполагается, что проникновение иностранных слов в лексикон ведет к порче языка, а она, в свою очередь, приводит к разрушению национальной культуры. Есть ли возможность проверить это утверждение? В естественных науках используется метод контрольных групп – например, чтобы проверить действие лекарства, наблюдают не только за мышами, которым его дают, но и за теми, кому не дают. Попробуем и мы найти язык, который не пытались “лечить” от иностранных заимствований, и посмотреть, как это сказалось на национальной культуре.

Пример такого языка у всех перед глазами – это английский. Тот самый английский, который все нации, не говорящие на нем – будь то русские или французы, – подозревают в злонамеренной экспансии с целью порчи “нашего” языка и “нашей” культуры. Количество заимствований в английском огромно. Примерно половина из 1000 самых частотных слов английского языка в Британском национальном корпусе – заимствования[26]. И не стоит думать, будто это недавнее явление. Английский подвергается бурным наплывам чужеродных слов уже тысячу лет: скандинавских в IX–X вв., французских начиная с XI в. и вплоть до недавнего времени, латинских в эпоху Ренессанса, индийских в эпоху колониализма. Если взять первую попавшуюся цитату из Шекспира, в ней почти наверняка встретится заимствование. Русский читатель об этом не догадывается – мы не видим иноязычного следа в таких фразах, как “Быть иль не быть, вот в чем вопрос?” или “И грозноликий Бой чело разгладил”. А в оригинале первая цитата содержит одно заимствование (“To be or not to be: that is the *question*”), а вторая даже целых два (“Grim-*visaged* War hath smoothed his wrinkled *front*”). Если поэзия Шекспира – продукт разрушения языка и культуры, то дай бог всем такого “разрушения”!

В том, что у англичан сохраняется самобытная национальная культура, вряд ли усомнится даже завзятый англофоб. Более того, понятие национальной самобытности и родилось на английской почве, в XIV в., когда во всей остальной Европе люди еще считали себя просто “христианами”. Толчком к этому послужило достаточно случайное событие – английскому королю Эдуарду III

не удалось получить французский престол, на который он позарился. Неутоленные амбиции Эдуарда вылились в Столетнюю войну и вместе с тем привели к первому опыту конструирования национальной идентичности. Эдуард принялся демонстративно противопоставлять английское французскому и поощрять письменность на английском языке. В следующем столетии английский язык стал государственным и появились его письменные нормы. Однако ни Эдуард, ни его преемники не ставили цели изгонять из языка инородную лексику. Хотя в англоязычных странах, как и везде, существуют пуристы, пуризм в Великобритании или США никогда не играл важной роли. Знаменитый американский фантаст Пол Андерсон как-то написал шуточную статью “Созерцание неделимого” (Uncleftish Beholding), в которой попытался представить, как выглядела бы научная литература, если бы из нее исчезли все заимствованные слова. И показывает он это на примере атомной теории, как собственно и переводится словосочетание *uncleftish beholding*. Возможно, русскому читателю, привыкшему к словам *кислород* и *водород*, не покажутся смешными придуманные Андерсоном слова *sourstuff* и *waterstuff* (вместо *oxygen* и *hydrogen*), но у него и гелий стал “солнцеродом” (*sunstuff*)!

А ведь именно это делают с языком науки в Исландии. (Не приходится сомневаться, что об исландском языке Пол Андерсон имеет представление – он автор фантастического рассказа “Человек, который пришел слишком рано”, где американский солдат попадает в Исландию эпохи викингов; рассказ написан со знанием древнеисландской культуры и любовью к ней.) Как мы видим, то, к чему исландцы относятся на полном серьезе, для носителя английского языка возможно разве только в качестве экстремального пародийного эксперимента.

Чей подход к языку лучше? Плюсом исландского пуризма является сохранение исконного лексического запаса языка, которое дает возможность сохранять непрерывность литературной традиции – понимать без специального лингвистического образования тексты саг, написанные несколько столетий назад, и творчески использовать их языковые ресурсы. Однако издержки существенны: их научно-техническая терминология никому не понятна за пределами исландской языковой среды, тогда как во многих языках она носит международный характер. Даже если вы не владеете, скажем, итальянским, вы, скорее всего, поймете инструкцию по обращению с бытовым прибором, сделанным в Италии. Исландские же надписи поставят вас в тупик. Можно также усомниться, что для самих исландцев конструкции вроде “сила

янтаря” более прозрачны по смыслу, чем для нас *электричество,* – ведь знание о том, что электричество впервые получили путем трения янтаря, для современного человека совершенно неактуально. Да и всегда ли этимологическая прозрачность заимствований нужна и полезна носителям принимающего языка? Например, наше слово *гимназия* происходит от греческого *gymnós* “голый”: древние греки, как известно, занимались физическими упражнениями в обнаженном виде, а помещения для тренировок назывались, соответственно, гимнасиями. Но то, что мы называем *гимназией*, не имеет ни малейшего отношения к этим практикам. А буквальное калькирование слова “истерия” с греческого исландцами неуместно воскрешает старую лженаучную теорию, связывающую эту болезнь с “бешенством матки”[27].

Еще серьезнее проблема изоляции от мировой науки: мало кто захочет читать на языке, на котором отсутствует международная общепринятая терминология, да и переводить с него охотников вряд ли много. Исландским ученым, если они хотят, чтобы их читали, приходится публиковаться на английском – даже тогда, когда речь идет об исследованиях исландских саг в оригинале.

Английскому, самому успешному языку международного общения, эти проблемы незнакомы, однако с ним свои сложности – утрата языковой преемственности со старой литературой. Литература до эпохи Шекспира практически непонятна англичанину наших дней без перевода на современный язык. При этом успешные адаптации среднеанглийской поэзии Джеффри Чосера могут осуществляться относительно легко. (Возможная аналогия – переложение на современный русский “Повести временных лет”, выполненное Д. С. Лихачевым.) А вот древнеанглийская поэма “Беовульф” уже два столетия причиняет мучения переводчикам, хотя количество переводов исчисляется десятками. Выпадение большей части исконного пласта возвышенной лексики и замена ее заимствованиями в современном английском приводит к тому, что при попытке написать самый простой подстрочник текста возникает стилистическая и смысловая какофония. А смена морфологии и синтаксиса языка делают почти непосильной задачей стихотворный перевод.

Таким образом, языки могут идти разными путями в том, что касается отношения к заимствованиям. Довольно сложно доказать, что какой-то из них лучше другого. Как исландский с его доведенным до крайности пуризмом, так и свободно вбирающий в себя заимствования английский вполне

жизнеспособны и продуктивны в культурном отношении. А ведь между этими двумя полюсами существует бесчисленное множество оттенков.

# 2. Слова и вещи, или Для чего эльфу пейджер

Бытует мнение, что основная причина заимствования иностранных слов – появление новых реалий, для которых нет названий в родном языке. Это мнение нередко разделяется и профессиональными лингвистами: так, в статье “Заимствование” энциклопедии “Русский язык” под редакцией Ю. Н. Караулова эта причина поставлена на первое место как “наиболее типичная”[28]. Некоторые лингвисты даже делают обратный вывод: если для какого-то понятия в языке употребляется заимствованное слово, это означает, что раньше такового в культуре не было. В этом был, например, глубоко убежден известный специалист по скандинавским языкам М. И. Стеблин-Каменский. Так, отстаивая мнение, что древних исландцев эпохи саг не волновали вопросы “авторства”, он ссылался на то, что в древнеисландском языке не было слова *авторство*[29]. (Однако он же вынужден отметить двумя страницами ниже, что скальдическая поэзия не была безличным фольклором и скальды свое авторство несомненно осознавали.) В другой своей работе Стеблин-Каменский писал еще категоричнее:

> …поскольку тогда не было языковых средств выражения определенных понятий, то этих понятий, скорее всего, не существовало для людей той эпохи ‹…› элементарный закон, которому подчиняется история любого языка, гласит, что слово, как правило, появляется не раньше, чем соответствующие понятия[30].

Этот тезис он иллюстрирует как раз примерами заимствований (*электричество, структурализм, энтропия* и др.).

Такое объяснение природы заимствований интуитивно кажется здравым: ведь все мы на протяжении своей жизни регулярно сталкиваемся с появлением новых слов, явно связанных с научно-техническими новшествами. Сейчас нам абсолютно привычно слово *компьютер*, а я еще застала время, когда это устройство именовали *ЭВМ* (*электронно-вычислительная машина*). Вряд ли читатель моложе тридцати сейчас с ходу поймет, что такое *ЭВМ*, натолкнувшись на эту аббревиатуру в старой газетной статье. Ирония судьбы заключается в том, что из трех слов в сочетании *электронно-вычислительная машина* не иностранное только второе.

Иногда новые слова вспыхивают метеорами и тут же гаснут: среди самых частотных заимствований в 1990-е годы были *пейджер* (“устройство для приема текстовых сообщений, без функций телефона”) и *полароид* (“фотокамера для мгновенной печати снимков”). Быстрое удешевление мобильных телефонов убило пейджеры, а доступная массовая цифровая фотография покончила с поляроидами. Сейчас странно открывать учебник, по которому я готовилась сдавать вступительные экзамены на филологическое отделение более двадцати лет назад – слово *пейджер* фигурирует в нем среди нововведений[31]. Нулевые ознаменовались волной иноязычной лексики, связанной с едой, – *суши, роллы, капучино, ризотто* и прочие названия заграничных вкусностей.

Учебники, казалось бы, подтверждают эту интуитивную картину: так, самый знаменитый учебник русского языка Д. Э. Розенталя, И. Б. Голуб и М. А. Теленковой в разделе, посвященном заимствованиям, приводит – если вычесть церковнославянизмы – не менее 348 примеров (338 в русский язык из иностранных и 10 из русского языка в другие языки, без указания, в какие именно). В первой группе 325 слов из 338, а во второй 10 из 10 – это нарицательные существительные, обозначающие бытовые, политические, кулинарные и сельскохозяйственные реалии, предметы техники, понятия философии и искусства[32]. Заимствования представлены в первую очередь как названия **вещей**. Характерно приведенное там же высказывание некоего участника дискуссии о роли заимствований в русском языке: “В наш бурный век поток новых идей, вещей, информации, технологий требует быстрого называния предметов и явлений…”[33]

Но всегда ли усвоение иноязычной лексики продиктовано необходимостью дать название чему-то прежде неизвестному? Многие, вероятно, помнят роман Вальтера Скотта “Айвенго”, действие которого происходит в Англии пару поколений спустя после норманнского завоевания 1066 г. Роман открывается сценой, в которой два персонажа ведут следующий диалог:

> …А потому, Гурт, вот что я скажу тебе: покличь-ка Фангса, а стадо предоставь его судьбе. Не все ли равно, повстречаются ли твои свиньи с отрядом солдат, или с шайкой разбойников, или со странствующими богомольцами! Ведь к утру свиньи все равно превратятся в норманнов, и притом к твоему же собственному удовольствию и облегчению.
>
> – Как же так – свиньи, к моему удовольствию и облегчению, превратятся в норманнов? – спросил Гурт. – Ну-ка, объясни. Голова у меня тупая, а на уме одна досада и злость. Мне не до загадок.
>
> – Ну, как называются эти хрюкающие твари на четырех ногах? – спросил Вамба.
>
> – Свиньи, дурак, свиньи, – отвечал пастух. – Это всякому дураку известно.
>
> – Правильно, “суайн” – саксонское слово. А вот как ты назовешь свинью, когда она зарезана, ободрана, и

рассечена на части, и повешена за ноги, как изменник?

– Порк, – отвечал свинопас.

– Очень рад, что и это известно всякому дураку, – заметил Вамба. – А “порк”, кажется, норманно-французское слово (пер. Е. Г. Бекетовой).

Вамба прав: общеизвестно, что английское название свинины, *pork* – заимствование из французского (оно восходит к латинскому *porcus*, “свинья”). Но, согласитесь, наивно предполагать, что англосаксы до прихода Вильгельма Завоевателя разводили свиней и при этом не знали понятия “свинина”. Для чего же заимствовать это слово?

Устами своего героя Вальтер Скотт выражает мысль, что тот же закон распространяется на пары “бык – говядина” (*ox – beef*), “теленок – телятина” (*calf – veal*), и предлагает социологическое объяснение. По его мнению, причина в том, что мясо скота достается завоевателям:

…Значит, пока свинья жива и за ней смотрит саксонский раб, то зовут ее по-саксонски; но она становится норманном и ее называют “порк”, как только она попадает в господский замок и является на пир знатных особ. Что ты об этом думаешь, друг мой Гурт?

– Что правда, то правда, друг Вамба. Не знаю только, как эта правда попала в твою дурацкую башку.

– А ты послушай, что я тебе скажу еще, – продолжал Вамба в том же духе. – Вот, например, старый наш олдермен бык: покуда его пасут такие рабы, как ты, он носит свою саксонскую кличку “окс”, когда же он оказывается перед знатным господином, чтобы тот его отведал, бык становится пылким и любезным французским рыцарем Биф. Таким же образом и теленок – “каф” – делается мосье де Во: пока за ним нужно присматривать – он сакс, но когда он нужен для наслаждения – ему дают норманнское имя.

– Клянусь святым Дунстаном, – отвечал Гурт, – ты говоришь правду, хоть она и горькая. Нам остался только воздух, чтобы дышать, да и его не отняли только потому, что иначе мы не выполнили бы работу, навалленную на наши плечи. Что повкусней да пожирнее, то к их столу…

Это объяснение и в наше время чрезвычайно популярно в интернете. Вряд ли, однако, его стоит принимать всерьез – в конце концов, Вамба все-таки шут. Да и современным историкам известно, что мясо в Средневековье было гораздо доступнее для

простонародья, чем это представлялось авторам XIX в.[34] Что же произошло с английскими быками и свиньями?

Надо учитывать, что сохранившиеся древнеанглийские источники не балуют лингвиста перечислением продуктов. Хозяйственной документации на этом языке не вели, или же она до наших дней не дошла. Основная доля древнеанглийской лексики известна нам по поэзии, церковным сочинениям и законодательным кодексам – а там нечасто встретишь подробные описания еды.

Однако лингвист Роберт Берчфилд сумел найти ответ на этот вопрос. Ответ оказался неожиданным: разграничение между исконно английскими названиями животных и французскими названиями их мяса ненамного старше самого Вальтера Скотта. Оно утвердилось лишь в XVIII–XIX вв., в эпоху, которую Берчфилд называет “кулинарной революцией”[35]. До того галлицизмы *pork, beef, veal, mutton* могли относиться как к самим животным, так и к их мясу. Словари XIX в. еще помнили эти значения слов с пометкой “устаревшее”. Кстати, нет доказательств того, что эти французские заимствования вообще бытовали в английском языке раньше XIV в. (а поскольку действие “Айвенго” происходит в XII в., невольно возникают некоторые сомнения в том, что разговор Вамбы и Гурта мог иметь место в исторической действительности)[36].

Занятно, но современные экономисты англоязычных стран тоже не называют свинину *pork*, а говорят о производстве “свиного мяса” (*pigmeat*). Что касается древнеанглийского, то в нем образование сложных двусоставных слов происходило так же легко и привычно, как в современном немецком – а по-немецки “свинина” и “говядина” до сих пор называются *Schweinefleisch* (“свиное мясо”) и *Rindfleisch* (“бычье мясо”). Вероятно, древние англосаксы выражались так же.

Помимо “кулинарной революции”, то есть перехода к более сложной кухне, можно предположить еще один фактор. Как раз на XVIII–XIX вв. приходится формирование характерной для англичан культуры сентиментального отношения к животным. В английской живописи в это время появляется анималистика. В поэзии можно привести пример Уильяма Блейка (1757–1827), трогательно воспевающего ягненка. Не связано ли утверждение французского лексикона в области кулинарии с желанием растождествить животное и его мясо, отогнать от себя мысль о происхождении бифштекса на тарелке?[37] Разумеется, бесхитростные древние англосаксы такой потребности не испытывали – в отличие от буржуа XVIII в.

В какую ловушку может загнать идея, будто слова рождаются

только вместе с понятиями, можно продемонстрировать на простом сравнении лексики русского и английского языка. В русском языке – по крайней мере, в литературном, так как в говорах теоретически может найтись все, – отсутствует специальное слово для блинного теста. Мы называем тестом и то, из чего делают блины, и то, из чего делают пельмени или пончики. А вот у англичан такой термин есть – *batter*. Было бы, однако, крайне опрометчиво на этом основании делать вывод, что русским неизвестны блины и жидкое тесто. Напротив, большинство русских считают их своим национальным блюдом и страшно удивляются, узнав, что блины знакомы многим западноевропейским народам, а французы даже отмечают блинами Масленицу. Татьяна Толстая, впрочем, утверждает – за достоверность утверждения не ручаюсь, – что в Лондоне под названием *blini* подают вид бутербродов с огурцом[38]; правда это или нет, но со словами при заимствованиях и не такое случается.

Итак, разные языки членят действительность по-разному, и там, где одни довольствуются общим обозначением, другие вводят подробную классификацию. Некоторые лингвисты даже полагают, что это влияет на мышление их носителей. Это предположение называется гипотезой лингвистической относительности, или Сепира – Уорфа, в честь двух американских лингвистов первой половины XX в., Эдварда Сепира (1884–1939) и Бенджамина Уорфа (1897–1941). Подробно об истории гипотезы Сепира – Уорфа можно прочесть в книге Гая Дойчера “Сквозь зеркало языка”[39]. Широкой публике эта гипотеза известна главным образом в виде байки о том, что в “эскимосском языке” существует то ли 20, то ли 100, то ли даже 200 слов для обозначения снега[40].

Как оказалось впоследствии, Уорф не провел собственного исследования лексики эскимосских языков (которых, кстати, не один, а много). Он почерпнул сведения из старой книги антрополога Франца Боаса, где таких слов названо четыре: “снег”, “сугроб”, “метель”, “поземка”. Нетрудно увидеть, что это примерно соответствует объему европейской лексики для обозначения снега.

Хотя разоблачение этого недоразумения опубликовано еще более тридцати лет назад, байка про “сто эскимосских слов для обозначения снега” продолжает тиражироваться не только в средствах массовой информации, но и в работах профессиональных филологов. Сама же гипотеза Сепира – Уорфа, что язык предопределяет мышление и картину мира его носителей, или по крайней мере влияет на познание, все еще пользуется достаточным авторитетом. На сегодняшний день

самая влиятельная сторонница этой гипотезы – австралийская лингвистка польского происхождения Анна Вежбицкая. В России она знаменита главным образом своей работой, где сравнивается использование таких слов, как “душа” и “судьба” в русском и английском языках[41]. Вежбицкая полагает, что частотность использования той или иной “ключевой” лексической единицы в языке указывает на фундаментальные характеристики той культуры, к которой принадлежат носители данного языка.

Публикация работы Вежбицкой в России выпустила из бутылки весьма сомнительного джинна. Поскольку тема русского национального характера у нас любима и популярна, а английский язык в наши дни знает (или думает, что знает) чуть ли не каждый городской житель, все охотно принялись сравнивать русский язык с английским и делать выводы о русской душе. Вежбицкая привлекала для сравнения и другие языки, например немецкий, но ее последователи этим себя утруждают нечасто. Интернет, прессу и книжные магазины накрыл вал работ о ментальных отличиях русских от англоговорящих иностранцев (я неслучайно выражаюсь так, поскольку тонкости отличия британской культуры от американской и тем более от австралийской авторов подобных работ, как правило, не интересуют). Библиография их заняла бы слишком много места – познакомиться с ними в достаточном количестве можно, набрав в “Яндексе” “русская языковая картина мира”. Верхний слой этого массива составляют вполне респектабельные и академичные по форме работы Анны А. Зализняк, А. Д. Шмелёва и уже знакомой нам И. Б. Левонтиной (языковая картина мира – основной предмет ее научных интересов, хотя отчасти затрагивается и в ее научно-популярных книгах, таких как “Русский со словарем”). Напротив, “дно” подобной методологии демонстрируют анекдотические рассуждения сатирика Михаила Задорнова, который, например, сопоставлял русское выражение *ни души* с английским *nobody,* делая вывод, что для русских главное в человеке – душа, а для “тупых американцев” – тело.

Работы Вежбицкой и особенно ее российских последователей не раз подвергались критике[42]. Указывалось, что выводы авторов зачастую продиктованы недостаточным знанием лексики изучаемого языка или ограниченностью материала, который был использован селективно. И в самом деле, интересно, что сказала бы Вежбицкая о русской культуре, если бы анализировала употребление слова *душа* по “Мертвым душам” Гоголя, не говоря уже о документах на куплю-продажу крепостных? Но главная претензия к этому направлению состоит в том, что оно игнорирует важную особенность природы языка. Язык – не

словарь, состоящий из отдельных слов; язык существует не в словарях, а в высказываниях, и только в них слова обретают реальный смысл. Вежбицкая же со своими последователями доходят до того, что расчленяют фразеологизмы с употреблением слов *душа, судьба* и т. д., обращаясь с этими словами как с независимыми лексическими единицами – вопреки азам лексикологии, ведь о неразложимости фразеологизма написано в учебнике для средней школы. Да и без учебника любой ребенок старше шести лет понимает, что в выражении *сесть в калошу* нет никакой калоши; убеждение взрослых лингвистов в том, что в выражении *жить душа в душу* говорится о душе, по меньшей мере странно.

Более того, релятивисты и с грамматическими конструкциями обращаются как со словами, за которыми стоят вещи или идеи. Отсюда, например, популярность теории, согласно которой безличные конструкции типа *мне приснилось* или *мне довелось* свидетельствуют о том, что носитель русского языка воспринимает себя как пассивный объект воздействия внешних сил (а, соответственно, носитель английского языка, в котором этих конструкций якобы нет, – как активного деятеля) [43]. Эта идея появилась задолго до трудов Вежбицкой, но была подхвачена ею самой и ее сторонниками[44].

Идеологические аспекты “языковой картины мира”, по которым “вежбицкианцам” тоже предъявляют немало претензий, я позволю себе оставить за кадром. Здесь обсуждается только вопрос, насколько основная идея данной теории соответствует реальности языка.

Один из критиков Вежбицкой, Патрик Серио, отмечает:

> Следствием этой основной идеи является положение, которое можно назвать оруэлловским: если в определенном языке нет слов (форм), с помощью которых можно выразить что-либо, то на данном языке нельзя ни подумать, ни даже почувствовать это[45].

Не правда ли, знакомая мысль? Именно это положение несколькими десятилетиями ранее без тени иронии высказывал М. И. Стеблин-Каменский, обсуждая возможность обозначения понятия “любовь” или “авторство” в древнеисландском. “Любовь” и “авторство” оказываются полностью тождественны “электричеству” или “суши-бару”: они заимствуются извне вместе с соответствующими словами. Слова рассматриваются в первую очередь как названия предметов, равноценные по объему значений. Хотя, надо сказать, Стеблин-Каменский не заходил так далеко, как вежбицкианцы, – в том, что грамматические

конструкции языка отражают мировоззрение, он все же сомневался[46].

Если вдуматься, этот постулат заводит в логический тупик: нельзя помыслить о чем-то, пока не появилось слово для его обозначения. Но, если новое слово заимствуется потому, что нужно назвать новую вещь или идею, как тогда вообще возможны заимствования из одного языка в другой?

Мы, однако, убедились, что можно печь блины, не называя блинное тесто специальным словом. Более того, маленькие дети в наше время уверенно пользуются компьютером, не зная названий инструментов Windows, которые они видят на экране. Переводы компьютерной терминологии как раз представляют собой обширное поле для вопросов: действительно ли новые слова так необходимы для всех новых объектов? Надо ли заимствовать английские термины или переводить (у нас вполне прижились русские *окно* и *мышь* в значениях “window” и “mouse”, которых исходно у этих слов не было)? И сколько элементов, требующих называния, содержит компьютерная программа?

Да что там компьютерные технологии! Несколько лет назад моя мама купила приспособление для того, чтобы накрывать сковородку во время жарки и не давать кипящему маслу брызгать во все стороны. Выглядит оно как плоский диск из металлической сетки с довольно длинной ручкой. Никто из нас до сих пор не знает, как эта штука называется. Мама называет ее ситом, я – сачком. Что не мешает нам эффективно пользоваться ею.

Распространенной причиной, по которой прямого соответствия слова понятию может не быть, является табуирование. В известном детском анекдоте учительница, услышав от Вовочки слово *жопа*, возмущенно восклицает: “Вовочка! Нет такого слова!” На что Вовочка резонно замечает: “Как же так, Марь Иванна? Жопа есть, а слова нет?” Более пристойный вариант – *попа* – вовсе не создан путем замены одной буквы – это заимствование из испанского, от *ропа* “корма”, возможно, через посредство немецкого, в котором слово *Ропо* имеет то же значение, что и в русском. Этимологию же слова *жопа* признают неясной[47].

Итак, в русском языке для некоторых частей тела или их функций нет названий, кроме табуированных. Независимо от того, является ли исторически наша обсценная лексика исконной или заимствованной (это сложный и все еще нерешенный вопрос), мы склонны обращаться к явным заимствованиям, чтобы назвать подобные понятия более прилично. Сравнительно свежий пример такого заимствования – *секс*. Однако и в английском, откуда это слово попало в русский, оно еще сто лет назад практически не

употреблялось в современном значении. Это был заимствованный из латыни медицинский термин, означавший “пол”. Постепенно для удобства обсуждения щекотливых тем в английском оно заменило выражения “половой акт” или “половая жизнь”. Отметим, что и в русском, и в английском исстари существовало множество эвфемизмов для обозначения “непристойного”. Но эвфемизмы не могут заменить терминов, так как главный признак эвфемизма – то, что его смысл ощущается как переносный, когда предмет не называется прямо. Впрочем, эвфемизмы имеют склонность становиться терминами: такова судьба слов *член* и *туалет*.

Заимствования могут заполнить эту лакуну в языке как через эвфемизмы (*туалет*), так и без них (*пенис*). Сам факт, что у заимствований повышенные шансы оказаться “приличным” средством выражения “неприличного”, интересен с научной точки зрения. Ведь, в сущности, даже очевидная в данном случае потребность в новом названии ничего не объясняет. Название можно придумать из ресурсов родного языка. У князя Игоря в XII в. был *полк*, но не было *полковников* – это слово появилось много веков спустя. В XVIII в. появились слова *влюбиться, личность, нравственность*. В XIX в. – *разночинец*, в XX в. – *большевик*, в постсоветскую эпоху – *челнок* (вместо старинного *коммивояжер*). Нельзя сказать, что в сфере телесных функций русский язык проявил полную пассивность: так, в последней четверти XX в. появилось слово *трахать(ся)*, которое, в отличие от традиционного русского обозначения этого акта, обсценным не является и уже этим удобно. Впрочем, в качестве нейтрального термина оно все еще непригодно, так как ощущается в качестве сниженного, если не грубо-просторечного[48]. Дело в том, что глагол *трахнуть*, по происхождению звукоподражательный, изначально принадлежал к области экспрессивного просторечия, и эти коннотации никуда не исчезли[49].

В английском существует сходная закономерность, хоть и не настолько абсолютная, как в русском (так, со словами *toilet* и *penis* произошло то же, что с русскими *туалет* и *член*). Выходит, по каким-то причинам иностранное слово ощущается как более “чистое” и “благопристойное”, более защищенное от вульгарности. В чем же дело?

По-видимому, причина особой любви блюстителей приличий к иностранным заимствованиям – непрозрачность чужого слова, его неочевидность. Чужое слово безопасно с точки зрения нежелательных ассоциаций. Вместе с тем иностранные слова, как правило, овеяны ореолом книжности, а литературная речь во всех обществах, где есть письменность, рассматривается как более

престижная по сравнению с разговорной. Парадоксально то, что в русском языке исторически существует пристойное книжное именование полового акта – *соитие*, но им в обыденной речи не пользовались даже во времена Пушкина: оно давно ощущается как чудовищный архаизм. При этом иностранные слова воспринимаются как “новые” и “современные”, даже если в языке-источнике им тысячи лет. Следовательно, это тоже фактор, обусловливающий вытеснение родных слов иностранными.

Еще более удивительным представляется феномен заимствования так называемых слов с нулевым денотатом – слов, которым не соответствуют никакие объекты реального мира. Когда древние славяне после крещения заимствовали у греков слово *ангел*, то можно было утверждать, что они поверили в существование ангелов, и потому им понадобилось новое слово. Однако как быть с людьми XIX в., в лексиконе которых свободно бытовали *кентавр, сатир, гарпия, Купидон* и пр. – названия персонажей античной мифологии, в реальность которых тогда уже явно никто не верил? В XX в. словарь русского языка пополнился *хоббитами* и *орками* (слово *эльф* было заимствовано раньше, поскольку принадлежит германскому фольклору). Не странно ли, что слово *пейджер* родилось и умерло вместе с названным так предметом, а *кентавров* и *эльфов* никто никогда не видел, но слова живут и превосходно себя чувствуют?

Единственное, для чего, по-видимому, нужны слова с

нулевым денотатом (если не рассматривать метафорические применения, когда вредную старуху могут назвать гарпией) – это создание текстов в рамках определенной культурной традиции. Пушкин употреблял слово *Купидон*, подчеркивая свою преемственность по отношению к Античности, каноны фэнтези заданы Толкиеном и автоматически влекут за собой *эльфов*, которые склонны появляться даже в субжанре славянского фэнтези (например, в романах Ольги Громыко), хотя в славянской мифологии никаких эльфов нет. Все это показывает, что слова нужны отнюдь не только для обозначения элементов действительности.

Наконец, нередко заимствованные слова как будто без всякой причины вытесняются другими. Так, на памяти моего поколения *кегельбан* превратился в *боулинг, маклер* в *риелтора, шлягер* в *хит*. Несколько устрашает повсеместно распространяющаяся привычка говорить вместо *макароны* – *паста*: в годы моего детства паста была только зубной, томатной и наждачной. Если вытеснение слова *маклер* еще можно как-то объяснить (в советские годы оно несло нежелательный оттенок незаконной деятельности, так как официально торговли недвижимостью не существовало), то нельзя сказать того же о *кегельбане, шлягере* и тем более *макаронах*. Можно лишь отметить общую тенденцию: немецкие, французские и итальянские заимствования в русском языке вытесняются английскими (хотя *pasta* по происхождению итальянское слово, оно попало к нам через английское посредничество). **В целом же в усвоении иностранных слов немалую роль играют мода, привычка и просто переводческая лень.**

Иностранное слово может вытеснить и исконное, бытовавшее в течение многих веков. В английском языке это случилось с несколькими сотнями слов. Например, понятие “слава” на современном английском выражается латинским заимствованием *glory*. Неужели у англосаксов, с их развитой воинской субкультурой, не было слова для его обозначения? Сохранившаяся эпическая поэзия позволяет уверенно сказать, какое слово использовалось в древнеанглийском: *wuldor*. Но оно вымерло. Утрачены и такие исконные английские слова, как *beorg* (гора, совр. англ. *mountain*), *ācweorna* (белка, совр. англ. *squirrel*), *sinc* (сокровище, совр. англ. *treasure*); а исконно английские *breeches* и *fair* (“брюки” и “красивый”) сохраняются в современном языке, но ощущаются как архаизмы: носитель языка в быту употребит французские заимствования *trousers* и *beautiful*[50]. Вопреки распространенному мнению, вытеснение англосаксонских слов французскими и латинскими происходило

не только в норманнский период – оно шло и в Новое время.

А для тех, кто впервые столкнулся с болгарским языком, может стать неожиданностью то, что по-болгарски “люди” – *хора*. Это греческое заимствование – от *khorós* “группа людей”. Кстати, от этого же слова происходит наше *хоровод*, потому что исходное значение слова – “народный танец”. Согласитесь, было бы очень странно считать, что в Болгарии до заимствования греческого слова не было людей! Кто же в таком случае говорил по-болгарски? Не вороны же! Конечно, когда-то люди в болгарском языке так и назывались – *людие*. Просто исконно славянское слово оказалось вытеснено греческим из-за многовековой власти византийской администрации. Даже после падения Константинополя в 1453 г. турки-османы доверяли местное управление в славянских землях грекам. Поэтому болгарский изобилует как греческими, так и турецкими заимствованиями.

Таким образом, слова и понятия могут вступать между собой в самые разнообразные отношения:

● Понятие раньше отсутствовало, а возникнув, требует специального названия (*картофель, компьютер, суши*).

● Понятие существует без специального названия (блинное тесто в русском языке vs. *batter* в английском; свинина и говядина в древнеанглийском).

● Понятие существует, но его название табуировано в принимающем языке (*секс*).

● Понятие существует, название для него – тоже, но по каким-то причинам название меняется (*шлягер → хит*).

● Понятие, обозначаемое словом, в реальной жизни вообще отсутствует (*эльф*).

А в популярной литературе, где рассматривается проблема заимствований, обычно учитывается только первый тип отношений! Который, как мы убедились, хотя и широко распространен, но далеко не единственный.

# 3. Глагол жжот!

Как уже было отмечено в предыдущей главе, при разговоре о заимствованиях первым делом вспоминают названия предметов и явлений. Это указывает на то, что в обыденном сознании, не чуждом и лингвистам, “слово по умолчанию” – существительное. Однако пушкинский ангел советует герою жечь сердца людей *глаголом*. Старославянское обозначение слова вообще в современном русском стало названием части речи, выступающей в роли сказуемого. Это не случайность, а калька с латинского: по-латыни *verbum* означает и “слово” как таковое, и “глагол”. В латыни, в свою очередь, этот термин был переведен с греческого *rhēma* (возможно, некоторым читателям известно деление предложения на *тему* и *рему*). Прекрасный повод вспомнить, что слова бывают не только существительными! Между тем как раз о глаголах постоянно забывают. Как старый учебник Розенталя, так и новейшая книга И. Б. Левонтиной “Русский со словарем” в разделах о заимствованиях практически игнорируют глаголы[51]. В отличие от Розенталя, иллюстрирующего заимствования почти исключительно существительными, Левонтина рассматривает также прилагательные и некоторые междометия, но глагол по-прежнему остается большей частью за кадром.

В первой главе уже упоминалось, что английское слово *computer* происходит от заимствованного латинского глагола *computare* “подсчитывать”. Заимствован здесь именно глагол, а существительное образовано от него. Бывают и обратные случаи: глагол образуется от заимствованного существительного. Так, русский язык от слова *кокетка* (франц. *coquette*) образовал глагол *кокетничать*, который уже давно воспринимается как естественно принадлежащий русскому словарю. Кажущийся нам чисто русским глагол *смаковать* происходит от средневерхненемецкого *smacken* “пробовать (на вкус)” – он попал в русский язык через польское посредничество. Немецкое же происхождение имеет и глагол *трамбовать* – вероятно, от средненижненемецкого *trampen* “топать ногами, топтать”. Интересно происхождение глагола *третировать*, который, разумеется, не имеет никакого отношения к русским словам *треть* или *третий*. По сведениям этимологического словаря Фасмера, оно происходит от французского *traiter* “обращаться” (ср. англ. *treat*), но не напрямую, а через немецкое слово *trätieren*. В принципе, немецкое участие предполагать необязательно, так как французское окончание инфинитива *-er* в русском регулярно дает *-ировать:*

*ангажировать* из *engager, манкировать* из *manquer, фланировать* из *flâner, дебютировать* из *débuter*. В подобных случаях Фасмер также предполагал посредничество немецкого *-ieren*, однако маловероятно, чтобы все без исключения французские глаголы пропускались в русском языке через немецкий: как минимум со времен Екатерины II образованные слои населения учили французский, и учителями зачастую были носители языка. Правдоподобнее счесть, что и русские, и немцы независимо друг от друга слышали французское закрытое [e] как [i], тем более что часть французских глаголов действительно оканчивается на *-ir* (ср. *applaudir* “аплод*ировать*”), и принимающие языки без лишних проволочек унифицировали получившийся суффикс. Замечательно, однако, что глагол, значивший всего лишь “обращаться”, вошел в русский язык со значением “плохо обращаться”. Приобретение иностранными словами негативных коннотаций – одно из следствий подозрительного отношения к заимствованиям, которое обсуждалось в главе 1. Современным примером аналогичного казуса может служить тенденция саркастической трактовки понятия *толерантность,* и как следствие агрессивное неприятие самого слова: оно начинает восприниматься как “терпимость по отношению к чему-то плохому и недопустимому” (в соцсетях даже появилось бранное слово *толерасты*).

Интригующим вопросом остается, почему немецкий и русский язык сохраняют французское окончание инфинитива, переделав его в суффикс, а английский язык при заимствовании французских глаголов окончание отсекает: *applaudir – to applaud*. Ведь, хотя русский и немецкий язык имеют синтетический характер и пользуются суффиксами, от этого чужеродного суффикса им проку мало – его трудно использовать для чего-то еще, присоединив к исконным корням. Даже Игорь Северянин с его явно галломанским уклоном словотворчества предпочел образовать глагол *оглупить*, а не **глупировать*. И наоборот, мы бы могли с успехом говорить **третить*[52], а не *третировать*, **галопить*, а не *галопировать*, **фланять*, а не *фланировать*. И тем не менее язык поступает с заимствованиями по собственным правилам, которые, раз уж он взялся их соблюдать, то соблюдает регулярно. Есть, конечно, и отклонения типа *рисковать, ревизовать*, но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что они скорее образованы в русском языке от существительных *риск* и *ревизия*, чем от французских глаголов.

Если обратиться к заимствованиям из немецкого в русский, то мы увидим, что для немецкого или нидерландского (нижненемецкий, в сущности, и есть нидерландский) окончания инфинитива *-en* это правило не выполняется. Скорее оно действует в обратную сторону: немецкое *-en* в русском регулярно отпадает. Мы говорим *смаковать*, а не **смакенить, *смакеновать; драить*, а не **драенить*, **драеновать* (нидерландск. *draaien*), *штопать*, а не **штопенить, *штопеновать* (*stoppen, stopfen*), *спринцевать*, а не **спринценовать* (*spritzen*); от существительных *штраф, штрих, танец* (нем. *Straf, Strich, Tanz*) мы без проблем образуем *штрафовать, штриховать, танцевать* (ср. *strafen, streichen, tanzen*), в отличие от французских пар *галоп – галопировать* (*galloper*), *дебют – дебютировать* и т. д.

В чем же дело? Как мне представляется, всего лишь в том, что французские инфинитивные окончания *-ir/-er* – ударные, в отличие от немецкого *-en*. А для русского и немецкого слуха ударное воспринимается как наделенное смысловой значимостью. В немецком ударение обычно падает на корень (это историческая особенность всех германских языков, которая, как правило, достаточно хорошо сохранилась в них). В русском столь жесткого правила изначально не было, однако в Новое время русский все больше и больше тяготеет к корневому ударению. Большинство современных носителей русского языка, увидев слово *по́слушник*, прочтут его как *послу́шник*. Повсеместно распространено произношение *зво́нишь, позво́нит*, вопреки ярости столичных интеллигентов, настаивающих на правильности

*звони́шь, позвони́т*. И уж совсем никто теперь не скажет *вари́шь, дари́шь, мани́шь,* а только *ва́ришь, да́ришь, ма́нишь* – ср. у Пушкина: *Ты пищу в нем себе вари́шь*, у Некрасова: *Посмотрит – рублем подари́т*. Следовательно, в русском языке имеется некоторая тенденция относить ударение к корню слова. А поскольку во французских глаголах окончание оказывается обычно единственным ударным слогом[53], то вполне закономерно, что оно “прирастает” к корню (даже несмотря на то что наши соотечественники, через которых французские глаголы входили в русский язык, прекрасно понимали внутреннюю форму глаголов и видели, что ударный слог в корень не входит).

Однако возникает новая загадка – почему те же французские глаголы теряют свои окончания в английском: англичане скажут *to march*, а не **to marcher* (ср. *маршировать* в русском). В английском ведь тоже исторически корневое ударение, которое во многом сохранилось и в наше время.

По-видимому, это явление следует объяснять тем, что в среднеанглийский период, на который пришлось активное заимствование французской лексики, английский язык сам терял окончания глаголов (одно время лингвисты даже полагали, что в этом процессе “виновато” непосредственно столкновение с французским – своего рода креолизация языка). Поэтому пойти по пути немецкого или русского и образовать варианты типа *маршировать* или *marschieren* английский не мог. Вместе с тем английскому было исторически чуждо ударение на последнем слоге, и в большинстве французских заимствований оно так или иначе смещалось от конца к началу: англичане говорят *treasure, pleasure, colour, courage, village* с ударением на первом слоге (ср. французские *trésor, plaisir, couleur, courage, village*)[54]. А очутившись в слабой, безударной позиции, французское окончание *-er* оказалось само подвержено утере. Тем более что формы первого лица единственного числа английского глагола и французского глагола I и III спряжения совпали: например, *je dance* (старофранц. *je daunce* “я танцую”) и *I love* (среднеангл. *ic love* “я люблю”). Возможность сказать *ic daunce* и спрягать глагол по-английски в том же духе напрашивается сама собой. Таким образом, целая совокупность факторов склоняла к тому, чтобы французские глаголы в среднеанглийском утратили свои исконные окончания. Более поздние заимствованные глаголы стали автоматически подчиняться этому правилу, раз уж образец уже сложился.

Интереснее всего ведут себя английские глаголы при попадании в русский язык. На момент контакта с русским их окончания давно утрачены – не только в инфинитиве, но и по

большей части в настоящем простом времени они состоят фактически из одного корня. Поначалу, пока английских глаголов в русском языке было мало, они вели себя двойственно: иногда присоединяли русские суффиксы и окончания непосредственно к корню, по немецкой модели (*пасовать*, от *to pass* “передавать”, как *танцевать* от немецкого *tanzen*), а иногда – наращивали квазифранцузский суффикс *-ир-* (*боксировать* от *to box* или *шокировать* от *to shock* – вряд ли стоит предполагать тут французское посредничество). Однако в наше время второй вариант, по-видимому, вымирает. За последние двадцать лет в наш язык вошло множество английских глаголов, и типично для них как раз прямое присоединение русских аффиксов к корню: *кликнуть, залогиниться, твитнуть, зафрендить* (*отфрендить*), *перепостить, лайкнуть*. Конечно, некоторое количество слов типа *сканировать* и *форматировать* образовано по старой, квазифранцузской модели, но обратим внимание, что эти заимствования принадлежат к числу наиболее старых в компьютерной терминологии.

При этом заимствования “немецкого” типа звучат более разговорно и непринужденно, чем конструкции “французского” типа на *-ировать,* которые отдают тяжеловесной книжностью и даже канцеляритом. Это хорошо видно из стилистического дублета *комментировать – комментить*, образовавшегося у нас с недавних пор. Когда в Россию пришли социальные сети, в русском языке давно существовал глагол *комментировать* (он известен как минимум с 1825 г.[55], а во второй половине XIX в. был уже в широком употреблении). Тем не менее вполне опознаваемое английское слово *comment* под сообщением на форуме в русском языке получило вариант *комментить* – не только с более узким значением (к устному комментарию или научному комментарию в собрании сочинений этот глагол вряд ли применим), но и более разговорное по стилистике, а в некоторых контекстах и с оттенком пренебрежительности.

Аналогичная стилистическая пара образовалась уже без помощи английского заимствования: *фотографировать – фоткать*. В этом случае суффикс *-ир-* (бывшее французское окончание) безжалостно выброшен, причем не просто так, а с заменой основы – новый глагол образован от обрусевшего существительного *фотка*. Заметим, что русский суффикс *-ова-* тоже не понадобился – употреблять формы **комментовать* или **фотковать* никому не приходит в голову, хотя нормам русского языка они не противоречат.

Глаголы, образованные от заимствованных существительных, составляют особый и весьма яркий класс. Очевидные примеры

таких случаев – *митинговать* (от английского существительного *meeting* “собрание”), *пиарить* (от аббревиатуры *PR*, то есть *public relations* “связи с общественностью”), *запаролить* (слово *пароль* известно русскому языку издавна, но глагол появился чуть больше двух десятилетий назад), *обилетить* (первоначально в невинном значении кондукторского жаргона – “выдать билет”, но впоследствии также и “оштрафовать”); прославившийся благодаря известному политику глагол *кошмарить* (существительное *кошмар* – очень старое заимствование из французского *cauchemar*, первоначально означавшего только “ночной кошмар”). Эти глаголы отличаются по своему устройству от *танцевать, штрафовать, лайкнуть, залогиниться*. В немецком наряду с существительными *Tanz, Strafe* есть глаголы *tanzen, strafen*; в английском глаголы *to like* и *to log in* первичны, а существительные *like* и *log-in* являются их производными. Но в английском языке нет глаголов **to PR, *to meeting* (поскольку *meeting* само образовано от *to meet* “встречать (ся)”), так же как во французском нет глаголов **paroler, *cauchemarer* и **billeter*; более того, **paroler* так же невозможно, как и английское **to meeting*, потому что французское *parole* “слово” само является отглагольным существительным от *parler* “говорить”. Глаголы из этих заимствований русский язык изготовил совершенно самостоятельно.

Плодом совершенно авантюрных приключений слов стал обиходный в наши дни глагол *ксерить*. У истоков его стоит неологизм *ксерография* (англ. *xerography*), изобретенный в 1942 г. для обозначения техники копирования. Буквально он значит “сухая печать” (по-гречески *xērós* – “сухой”). В 1960 г. появился первый общедоступный прибор для копирования под маркой Xerox. Сам прибор назывался и называется в английском *photocopier*, во французском *photocopieur* и т. д. Но русский язык почему-то выбрал для его названия торговую марку, имя которой стало нарицательным. Когда это произошло? По крайней мере, не позднее начала 1980-х: Национальный корпус русского языка дает цитату из дневников писателя Юрия Нагибина, где в 1983 г. слово *ксерокс* уже употребляется как нарицательное. Это не первый такой случай в русском языке: слово *унитаз* происходит от названия торговой марки Unitas, “единство” (так что это вовсе не *универсальный таз*!). Одновременно появляется существительное *ксерокопия* (засвидетельствовано у другого автора, но в том же 1983 г.). А где *ксерокопия*, там и *ксерокопировать*, так как пара *копия/копировать* уже имелась в русском языке: глагол *ксерокопировать* отмечается как минимум с 1989 г. Заметим, что слова *ксерокопия* и *ксерокопировать* этимологически

двусмысленны: то ли подразумевается “копирование методом ксерографии”, то ли “копирование с помощью прибора, именуемого *ксерокс*”. Как бы то ни было, аналога этим словам в западноевропейских языках нет (немцы вообще называют эту технологию “электрофотографией”, *Elektrofotografie*). В конце концов глагол *ксерокопировать*, так же как *фотографировать* и *комментировать*, подвергся усечению, и на выходе получилось *ксерить*, а с добавлением русской приставки – *откссерить*. Так же как глаголы *фоткать* и *комментить*, он образует стилистическую дублетную пару с исходным *ксерокопировать*: вариант с *-ир-* – официальный, без него – разговорный.

Особый случай – когда заимствованный глагол неожиданно совпадает с каким-то исконным русским. Классический пример – компьютерный термин *кликнуть*, который, будучи образован от английского звукоподражательного глагола *to click* “щелкнуть”, совпал с чисто русским глаголом, давно известным в языке. Это отобразилось в современном анекдоте.

XXI век. Старый айтишник читает внуку сказку Пушкина:

– Стал он кликать золотую рыбку…

– Дедушка, почему рыбку?

– Ну не было тогда мышек, рыбкой кликали!

Интересно, что переводчики англоязычного интерфейса пытались ввести термин *щелкнуть* (он и сейчас иногда

встречается). Но в обиходной речи он не прижился – не знаю лично никого, кто говорит *щелкну* вместо *кликну*. Вероятно, немалую роль в успехе слова *кликнуть* сыграло смысловое сходство – ведь русский омоним означает “вызвать, обратиться”, а когда мы щелкаем мышью по значку, мы действительно “вызываем” программу, “обращаемся” к ней.

Более причудливы случаи, когда смыслового совпадения не наблюдается – например, глагол *расшарить* (от английского *to share* “поделиться”). С русским глаголом *шарить* тут трудно усмотреть пересечение смыслов. Но, если бы мы не знали, что перед нами заимствование, вероятно, специалисты по сравнительно-историческому языкознанию принялись бы такие пересечения искать. Это ставит перед нами вопрос: откуда мы знаем, что заимствование – это заимствование? И всегда ли мы можем его распознать?

В следующей главе мы попробуем на этот вопрос ответить.

# 4. Колпак, противень и рында: Как расколоть иностранного агента

Как, собственно, мы распознаем иностранные слова? Этим вопросом задаются нечасто. Самый очевидный ответ на него – “они не по-русски звучат”. Но что именно нашему уху кажется чуждым?

Проще всего, когда слово явным образом нарушает законы грамматики русского языка. Например, исконно славянские существительные не могут в именительном падеже оканчиваться на У[56], поэтому мы сразу понимаем, что слова *какаду* или *кенгуру* иностранные. К тому же они еще и не склоняются – русский язык просто “не знает”, как их склонять.

Несклоняемость слов в русском языке – стопроцентный показатель того, что мы имеем дело с заимствованием. Даже если слова оканчиваются на привычные нам А, О или Е, но при этом не склоняются, мы обычно сразу понимаем их иностранное происхождение: *антраша, табло, пальто, кофе* (сравните исконно русские *скорлупа, яйцо, поле* – мы не испытываем проблем с их склонением). Однако далеко не все иностранные слова в русском языке оказываются несклоняемыми – большинство заимствований благополучно обретает падежи. Язык вообще любит “обкатывать” слова, подстраивая их под себя: от *пальто* уже давно образовано шуточное множественное число *по́льты*, которое, хотя и кажется сейчас варварским, имеет шансы в будущем войти в общеупотребительный словарь. Детский мем *Кина не будет!* также заставляет лингвиста призадуматься: а почему, собственно, не склонять *кино* как *вино*? Ведь *вино* – тоже заимствование, только древнее. Язык уже освоился с ним.

Подавляющее большинство заимствований успешно встроились в наш язык и ведут себя в нем законопослушно, не нарушая грамматических правил. Как же все-таки определить, что это заимствования?

Чаще всего называют наличие буквы Ф[57]. Действительно, слова, содержащие Ф, как правило, оказываются иностранными: *фанера, афера, буфет, фрак, фурнитура, фига, конфитюр, фрезеровщик, фосфор* и т. д. Однако, наряду с междометием *фу,* которое явно не заимствовано, существительные *филин* и *фуфайка* несколько портят картину: их этимология неизвестна, и найти иностранные “прототипы” на данный момент никто не смог. К тому же не следует забывать, что буква и звук – не одно и то же, а ведь цитируемый нами учебник так и пишет: “наличие в слове

звука (буквы) Ф”. Вот уже не менее четырех веков слова *травка, лавка* звучат как *трафка, лафка*[58]. То, что мы пишем их через В, в некотором роде случайность – в XIX в., когда было решено унифицировать русскую орфографию, приняли отражавший наиболее распространенную практику морфологический принцип: в одном и том же корне буквы пишутся одинаково, независимо от произношения. Но могли принять и фонетический принцип орфографии – писать так, как слышится. Им, например, пользуются сербы, поэтому слово *сербский* по-сербски пишется как *српски*, через П. Если бы в России выбрали фонетическую орфографию, десятки исконно русских слов имели бы в наше время Ф вместо В.

Интригующий случай – название города Тверь, которое во многих древнерусских летописях пишется как *Тферь*[59]. Предполагают, что это заимствование из финно-угорского, но его происхождение неясно – его сопоставляют с названием озера *Tihvera,* в котором, как мы видим, никакого Ф нет. По-видимому, не было его изначально и в названии города: в самых ранних летописных упоминаниях город фигурирует как *Тъхверь*. Если так, то получается удивительная картина: заимствование приобрело звук Ф (и соответствующую букву) на русской почве!

Это не единственный такой случай в русском языке. В просторечии XIX в. хорошо известны *куфня, куфарка* вместо *кухня,*

*кухарка*, хотя в немецком *Küche* тоже нет Ф. Возможно, то же произошло и с *филином*: есть данные, что раньше это слово звучало как *хилин*.

Выходит, вот уже несколько столетий звук Ф в русском языке есть и иногда чувствует себя настолько уверенно, что влезает в те заимствования, в которых его исконно не было.

С точки зрения лингвистики достаточно надежным признаком заимствования является А в начале слова. Действительно, если открыть словарь на букву А, мы увидим целую череду явно иностранных слов: *абажур, аббат, аббревиатура* и т. д. В то же время рядовой носитель языка вряд ли сочтет звук и букву А “нерусскими”. Есть некоторые слова с начальным А, которые воспринимаются как старинные русские: *ад, агнец, алчный*. Но первое из этих слов заимствовано из греческого (помните греческий Аид?), а второе и третье – из старославянского, предка южнославянских языков. В болгарском ресторанном меню до сих пор блюда из баранины – *агнешки*. В русском языке у нас вместо *агнца* – *ягненок*, с Я в начале слова (др.-рус. *ягня*). А что же со словом *алчный*? Сейчас его исконно русский вариант утрачен, но в древних рукописях он встречается – *лачьнъ*. Отсюда же слово *лакомство*. В современном городском просторечии нередко сближают старославянский глагол *алкать* с *алкоголем* и употребляют в значении “пьянствовать”. К *алкоголю*, слову арабского происхождения, этот глагол, конечно же, отношения не имеет. Зато он родствен нашему слову *лакать*, которое тоже применяют к пьянству. Так что народная этимология странным путем пришла почти что к научным данным о происхождении слова. Но все-таки исторически восточные славяне не *алкали*, а *лакали*. Такая перестановка звуков называется метатезой.

Выходит, даже там, где в других славянских языках есть начальное А, русский язык его по какой-то причине избегает – либо подставляет j (что отражается на письме в виде буквы Я), либо переставляет А на второе место в слове. В памятниках древнерусской книжности изредка находим такие формы, как *аблоко, алдия, аице*[60] вместо *яблоко, ладья, яйцо*. Но эти формы не закрепились в русском языке. А древнее поселение викингов Алдегья превратилось в *Ладогу*.

И конечно, самый замечательный пример – местоимение первого лица единственного числа, которое в русском языке оказалось не первой буквой алфавита, как в старославянском, а последней. Помните *Аз есмь царь* из кинокомедии “Иван Васильевич меняет профессию”? Конечно, реальный Иван Грозный вряд ли выразился бы так в устной речи: уже тогда для

носителя русского языка было нормально в быту говорить *я*. На пару веков раньше наш соотечественник сказал бы *язъ*. А вот болгары до сих пор говорят о себе *аз*.

При ближайшем рассмотрении единственными исконно русскими словами, начинающимися на А, оказываются союз *а* и междометия *ах* и *ай*!

Тут следует оговориться, что правило запрета на начальное А не действует в современном белорусском: многие исконно славянские слова, где этимологически в начале стояло О, начинаются в нем на А, в частности, приставка *от-* переходит в *ад-*. Зато в древнем восточнославянском это правило действовало настолько широко, что охватывало и явные заимствования: многие древнерусские авторы писали *олтарь, Ондрей* вместо *алтарь, Андрей*.

На этом месте у читателя может возникнуть вопрос: А, О – какая разница, если слог безударный? Для современного москвича или рязанца разницы действительно нет. А вот нижегородцы до сих пор четко выговаривают безударные А и О как два различных звука. Кстати, произношение эстрадных артистов, изображающих “нижегородское оканье”, вводит в заблуждение: сценические имитаторы вытягивают губы в трубочку и мычат нечто сдавленное почти в У, тогда как реальные нижегородцы произносят безударное О звонко и чисто, как во французском языке. Чтобы в этом убедиться, достаточно проехать в поезде маршрута Москва – Нижний. Так называемое аканье, то есть смешение безударного А и О, имеет сравнительно позднее происхождение – оно возникло после исчезновения редуцированных гласных, обозначавшихся как Ъ и Ь, и впервые засвидетельствовано в XIV в.[61] Но для жителей домонгольской Руси А и О были совершенно разными звуками даже без ударения. Древнерусские писцы писали *олтарь* вместо *алтарь*, но они не писали *акладъ* вместо *окладъ*, как написал бы современный двоечник. Из этого следует, что они не делали орфографические ошибки в безударных гласных – они пытались адаптировать написание иностранных слов к наиболее привычному произношению. Разница между звуком и буквой имеет значение!

Совершенно безумно ведут себя гласные в тюркских заимствованиях – смешиваются не только начальные А и О, но также А и О в любом месте слова, а иногда и любые другие гласные. Привычные нам слова *султан* и *басурман(ский)* в древнерусской книжности встречаются как *салтанъ, солтанъ, бусурман(ский)* и *бесермен(ский)*. Впрочем, “Сказку о царе Салтане” мы в детстве читали. А вот видеть *ормякъ, отласъ,*

*калпакъ, бозаръ* вместо *армяк, атлас, колпак, базар* современному читателю диковато – так и кажется, что древним книжникам не хватало корректоров. И все же наш *колчан* в белорусском языке стал *калчаном*, а поклонники творчества Гоголя наверняка помнят, что вместо *казак* он пишет *козак* – как в украинском. Русский язык тоже не сумел унифицировать все написания тюркизмов. Следы старого написания слова *колпак* остались в названии народности *каракалпаки*, где *кара-* означает "черный", а *калпак* и есть колпак (древнерусские летописи называют каракалпаков *черные клобуки*). Это объясняется чрезвычайной текучестью системы гласных в тюркских языках, в отличие от индоевропейских, и тем, что русское ухо не очень различало разные тюркские гласные[62].

Следовательно, путаница между А и О в древнерусских памятниках характерна для тюркизмов (хотя, как уже говорилось, если "неправильно" написана первая буква слова, то оно может быть заимствованием из другого языка – например, из греческого). А как распознать тюркизм в современном тексте, где орфография унифицирована?

Во-первых, почти все тюркские заимствования имеют ударение на последнем слоге. А во-вторых, сам этот слог часто выдает тюркское происхождение. Например, гарантированный признак тюркизма – конечное *-ма* после закрытого слога: *тюрьма, кошма, бастурма, кутерьма, яшма, сурьма*. Столь же надежен конечный слог типа "согласный + *-ык/-ук*": *арык, балык, ярлык, сундук, рундук, фундук, башибузук*. Если слово содержит конечный слог типа "согласный + *-ак/-як*" и при этом в нем нельзя выделить очевидный русский корень (как в словах *дурак* и *босяк*), то это, скорее всего, тоже тюркизм: *армяк, кизяк, ишак, кулак*, уже упомянутый *колпак*. Достаточно надежным признаком тюркизма является и последний слог *-ча: алыча, камча, саранча, бахча, парча, епанча* (есть исключение – слово *чесуча* заимствовано из китайского, и здесь происхождение последнего слога не очень ясно).

В качестве признака тюркских заимствований также называют сингармонизм – одинаковые гласные в слове (*сундук, башмак, чугун, алмаз*), но этот признак не очень надежен: он имеется далеко не во всех русских словах тюркского происхождения и к тому же требует уточнения, какие именно гласные. Вообще применять понятие сингармонизма к русскому языку не вполне корректно: ведь в русских словах, будь то заимствованный *алмаз* или исконный *берег*, одинаковы только гласные буквы, но не звуки.

Но то тюркские языки, а как быть с менее экзотическими

заимствованиями – из индоевропейских языков, например, романских и германских? Как понять, что они иностранцы? Здесь приходится гораздо сложнее.

Проще всего определить сравнительно недавние заимствования из латыни. Так, стечение согласных *-кт* в конце корня говорит о латинском источнике со стопроцентной вероятностью (*субъект, проект, факт*). Точно таким же индикатором латинского происхождения служит английское *-ct* (*subject, project, fact*). Зато в романских языках, которые произошли от латыни непосредственно, это сочетание обычно утрачено: франц. *sujet, projet, fait,* итал. *soggetto, progetto, fatto.*

Надежное свидетельство заимствования – когда слово кончается на *-ор*, *-ер* или *-ёр*, хотя в таких случаях не всегда просто определить, из какого именно языка пришло слово. Эти сочетания восходят к суффиксам, означающим деятеля: *-ор* из латинского *-or, -ер* из английского или немецкого *-er, -ёр* – из французского *-eur*. В самих европейских языках эти суффиксы вступают в сложные отношения: французское *-eur* происходит непосредственно от латинского *-or,* а английское *-er* может быть как исконным, так и передающим французское *-eur* в заимствованиях. Судьбы таких слов в русском языке могут быть тоже крайне запутанными: в наше время в разговорной речи мне случалось даже слышать произношение *программёр* (как вариант к *программисту*), хотя те, кто его употребляет, вряд ли знакомы с французским словом *programmeur* – французский язык для современного русского, особенно в сфере компьютерной лексики, мало актуален. Более вероятно, что это слово образовано по аналогии с *гримером* и *минером*. Вообще сочетания *-ер* и *-ёр* при переносе в русский язык во многом сохраняют признаки продуктивного суффикса: мы без труда понимаем смысл пар *грим – гример, блог – блогер, акт – актер, рок – рокер, контроль – контролер*. Менее продуктивен на русской почве латинский суффикс *-or*, но все же имеются и пары типа *редактировать – редактор*.

О заимствовании из немецкого расскажет стечение согласных *шт* в начале слога: *штопор, штаб, штабель, штопать, штрейкбрехер, флагшток*. Правда, среди них затесался один ложный германизм: *бифштекс*. Это несомненное английское *beef-steak* “говяжья вырезка” (ср. новейшее *стейк*), вот только *st* в этом слове произносят на немецкий манер – так уж повелось. Ведь и коренной британец Уолтер Скотт стал у нас немцем Вальтером.

Бросающийся в глаза признак западноевропейского заимствования – не только из индоевропейских языков, но также из финно-угорских – использование Э оборотного, которое

передает отсутствие j в начале слова или после гласного (Е в таких позициях по умолчанию считается йотированным): *эхо, экран, электрон, Эстония, фаэтон, поэт, коэффициент*. Однако, как видно из последнего примера, правило “после гласного” не распространяется на И. Использование Э после И, а также после согласных для передачи твердости отмирает: мы пишем *диета, тезис, плед, леди* вместо *диэта, тэзис, плэд, лэди,* как писали еще в начале прошлого века; довольно быстро *тренд* одержал победу над *трэндом* и *бренд* над *брэндом* (сейчас пишу, и Word подчеркивает мне красным варианты этих слов через Э). Причем, если в большинстве случаев мы все-таки различаем твердость в таких иностранных словах и произносим *тренд*, как если бы это был *трэнд*, а не так, как русское *треск*, то в отношении Л, похоже, рождается запрет на твердость перед [е]. Мы не только пишем *леди, плед*, но и произносим эти слова мягко. Исключение, подтверждающее правило – современный *лэптоп*, с которым пока еще успешно конкурирует *ноутбук*.

Современный русский язык отчасти склонен запрещать твердое Н перед [е] в западноевропейских заимствованиях: слова *пионер, пенсионер, инженер, легионер, брюнет* с самого начала писались через Е, а произношение типа *пионэр, брюнэт* ощущалось как ошибочное или манерное по меньшей мере с середины XX в. Именно этот нюанс придает столь неподражаемый сарказм знаменитой реплике Фаины Раневской: *Пионэры, идите в жопу*. Вместе с тем твердое произношение сохраняется в словах *турне, кашне, аннексия.* (Пока еще неясна будущая судьба слова *интернет* и производных от него: популярность в русском языке каламбуров со словом *нет* может “законсервировать” твердое произношение с целью избежать омонимии.) Так или иначе, твердость никогда не отражается на письме – все эти слова пишутся через Е. Но, что интересно, на японские заимствования этот запрет не распространяется: мы называем японский сувенир *нэцкэ*, а лисичку-оборотня из японской мифологии – *кицунэ*.

Немногочисленные слова западноевропейского происхождения, в которых Э оборотное после согласного вошло в устоявшуюся норму – английские *мэр, пэр* и *сэр*, а также французское *мэтр*. В последнем случае оно необходимо во избежание омонимии – чтобы отличать от *метра* (и так уже деятели искусства измучены шуточками на тему “мэтров и сантимэтров”). Однако русский язык до того не любит ставить эту букву после согласных, что слово *метрдотель* мы пишем через Е, хотя корень там тот же, что в слове *мэтр*.

Итак, буква Э существует почти исключительно для обозначения некоторых особенностей произношения иностранных

заимствований. Единственные исконно русские слова с ее использованием – междометия вроде *эх!* и местоимения *этот, этак,* но еще в XIX в. допускалось написание *етотъ*, и некоторые интеллектуалы считали букву Э ненужной[63]. Собственно, она и утвердилась в русском алфавите только в петровскую эпоху. Примеры употребления Э в XVII в., на которые обычно ссылаются, принадлежат белорусским авторам; рассматривать обозначения твердости и мягкости перед [е] в украинском и белорусском мы здесь не станем – это увело бы нас далеко в сторону. Выходит, и в данном случае речь идет о сравнительно недавних заимствованиях – моложе 300 лет. А как обстоит дело со старыми заимствованиями?

Легких ответов тут ждать не приходится. Чем древнее заимствование из европейских языков в русский, тем труднее его опознать. Например, тюркизмы, усвоенные в XVI в. и даже раньше, вполне может определить человек без специальной лингвистической подготовки – выше мы показывали как. А вот для того, чтобы выловить европейские заимствования, нужно серьезное знание истории языка.

Наиболее простой случай – когда однокоренные слова известны в распространенных европейских языках. Так, французское слово *jupe* подсказывает нам происхождение слова *юбка*. Почему, однако, не *жюбка*? Потому что на самом деле русское слово заимствовано из немецкого, просто немецкое слово *Jupe* в XX в. вымерло (сейчас юбка по-немецки называется *Rock*). Интересно, что и немецкое, и французское слово тоже были заимствованиями – из арабского *jubba* “рубаха”, от которого, в свою очередь, происходит русское *шуба*. А откуда в русском слове *юбка* взялось Б, если у французов и немцев было П? Еще во времена Пушкина многие писали *юпка*. Сам Александр Сергеевич оставил по этому поводу следующий комментарий:

> Многие пишут *юпка, сватьба,* вместо *юбка, свадьба.* Никогда в производных словах *т* не переменяется на *д*, ни *п* на *б*, а мы говорим юбочница, свадебный[64].

Вероятно, вначале произошло озвончение П между гласными (говорить *юбочница* удобнее, чем *юпочница*), а потом орфография была унифицирована по морфологическому принципу, как и предлагал Пушкин.

Сходным образом мы можем угадать иностранное происхождение слов:

● *табак* (оно обманчиво похоже на тюркизм, но у нас есть английское *tobacco*, испанское *tabaco*, французское *tabac* и немецкое *Tabak*);

● *стул* (англ. *stool*, исландск. *stóll*, нижненем. *stuhl*);

● *лампа, лампада* (англ. *lamp*, франц. *lampe*, нем. *Lampe* – независимо из греческого *lampás*);

● *крокодил* (англ. *crocodile*, франц. *crocodil*, нем. *Krokodil*);

● *панцирь* (нем. *Panzer*).

Но чем старше слова, тем труднее опознать заимствование: ведь со временем слова меняются до неузнаваемости. Кто, например, заподозрит скандинавские корни в слове *ящик*? А оно происходит от *askr*, "ясень". Почему А в начале слова стало Я – читатель, наверное, уже догадался. Щ же получилось из *sk* по тому же закону палатализации, по которому из *доски* получается *дощечка*, а древнеанглийский *scilling* стал современным *шиллингом* (*shilling*). Похожая судьба у слова *якорь*, которое попало к нам через посредство скандинавских языков и восходит к латинскому *ancora*. Начальное Я вместо А в заимствованиях, как правило, указывает на их глубокую древность: русский язык "обкатывал" их по-своему, приспосабливая к своему произношению. Более недавние заимствования, как мы уже убедились, сохраняют А в начале.

В английском языке очень старым заимствованием является слово *sable*: это наш *соболь*. Как мы видим, оно приобрело вполне английский облик.

Фантастически запутанными в английском оказались

отношения между словами *warrant* и *guarantee*. Оба значат “гарантировать” и оба заимствованы из французского, но в разное время: вариант с начальным *gu-* выдает недавнее заимствование из романских языков, тогда как вариант на W, более “английского” облика, средневековый. Но в самом французском это слово – германского происхождения!

Язык может обойтись с заимствованием и вовсе бесцеремонно, совершенно изгладив его иностранные черты, – и для этого оно необязательно должно быть древним. Задумывались ли вы, например, о происхождении слова *противень*? Против чего он предназначен? Или – напротив чего его ставят? Вроде бы русские предлоги *против* или *напротив* не имеют никакого отношения к выпечке пирогов. И никогда не имели: слово *противень* – это искаженное немецкое *Bratpfanne*, “жарочная сковорода”. Здесь поработала народная этимология, использовав похожее слово, которое в русском языке было и раньше, только значения имело другие, например “копия с документа”.

Поколение сорокалетних наверняка помнит модный в эпоху перестройки романс “Малиновый звон на заре…”. Словосочетание “малиновый звон” ассоциируется с чем-то старинным, традиционным и глубоко русским. А почему, собственно, колокольный звон – малиновый? В смысле – сладостный, как малина? Увы, придется огорчить патриотические чувства читателя: русское слово *малина* тут ни при чем. Слово *малиновый* в данном случае происходит от названия бельгийского города Малин (или Мехелен, в зависимости от того, по-французски или по-немецки его называют). Этот город издавна был знаменит колокольным литьем и школой колокольной музыки, и оттуда Петр I импортировал стандарт звона – который вместо *малинского* стал *малиновым*. Разумеется, здесь сыграло важную роль то, что слово *малина* в просторечии к XIX в. стало означать высшую степень блаженства (Национальный корпус русского языка подсказывает, что это значение известно по крайней мере с 1849 г.).

Попытки иных этимологов остаться на родной почве и связать *малиновый звон* с идеями *красного* и *прекрасного* несостоятельны, поскольку игнорируют историю словоупотребления[65]. Слово *красный* изначально означало только “красивый” и в значении цвета утвердилось лишь в XVI–XVII вв. Раньше этот цвет обозначался словом *червленый*. При этом вплоть до XVIII в. слово *красный* в значении “красивый” свободно сочеталось с самыми различными существительными. И сейчас в фольклорных стилизациях нам известны выражения: *красна девица; красно*

*солнышко; не красна изба углами, а красна пирогами* и т. д. Но нет ни одного примера, чтобы в этих значениях использовалось слово *малиновый*. За исключением устойчивого оборота *малиновый звон*, слово *малиновый* в русском языке не предполагает значения "красивый". Так что, увы, гипотеза, что речь идет о красивом цвете, родственном красному, не подтверждается.

Совсем уж невероятная история произошла со словом *рында*. Тем, кто читает исторические романы, наверное, приходилось удивляться – какая связь между придворной должностью в Московской Руси и железной штуковиной, в которую громко звонят? Разумеется, никакой. Смысловой перенос между царским рындой и рындой-колоколом не происходил. Все объясняется просто: в петровскую эпоху матросы, слыша команду на английском языке *Ring the bell!* ("Звони в колокол!"), шутливо переиначили ее в *Рынду бей!* Пресловутую должность рынды Петр I только что упразднил, а слово еще не успело исчезнуть. В результате оно стало обозначать сам колокол – вначале судовой, а потом и пожарный.

Сам английский язык тоже не отстает по части народной этимологии. Весьма причудливо, например, он обошелся с названием таракана. В самом деле, почему таракан по-английски *cockroach? Cock* означает "петух", *roach* – "плотва", на гибрид птицы и рыбы таракан уж никак не похож… Любителям музыки ответ подскажет название старинного танца – времен, когда еще не было ни компакт-дисков, ни магнитофонов, а пластинки были бьющимися. Конечно, "Кукарача"! *Cucaracha* и значит по-испански "таракан". Англичанам это слово было непонятно, и жажда слышать что-то понятное оказалась сильнее логики и смысла.

В следующей главе вы узнаете еще больше о приключениях заимствованных слов в языках и о том, что с ними может произойти.

# 5. Верблюдослон, разрезанный омнибус и NADSAT: похождения слов

Как мы только что убедились, судьба слов при заимствовании из одного языка в другой бывает драматичной. И это не исключение, а скорее, правило. История многих слов напоминает авантюрный роман с весьма непростым сюжетом.

# 1. Сдвиг значения

Возьмем, например, такое всем известное слово, как *верблюд*. А откуда оно, собственно, “всем известно”? На Руси верблюды не водились, и почерпнуть это слово наши предки могли разве что из книг. Те читатели, которым случалось иметь дело с древнерусскими текстами, наверное, обращали внимание, что в старину это слово писалось как *вельблудъ*. Это не искажение, вариант *вельблудъ* – старший: Р возникло там для удобства произношения в результате фонетического процесса, который называется диссимиляцией. Однако самое раннее написание этого слова – *вельбудъ* (оно засвидетельствовано в Остромировом евангелии 1056 г.). Второе Л появилось вследствие народной этимологии – слово было переосмыслено как состоящее из двух корней, *вель-* (то есть “большой”, ср. современное *велик*) и *блуд*.

Откуда мы можем с такой уверенностью знать, что вариант *вельбудъ* первоначальный, и откуда вообще взялось это слово? Ведь по-гречески обозначение верблюда звучит совсем непохоже – *kámēlos* (и тут ничего неожиданного нет, даже те, кто никогда не учил греческий, знают сигареты *Camel*). Почему древнерусские книжники переводили греческое *kámēlos* как *вельбудъ*?

К счастью, ответ на этот вопрос найден, и он кроется в давно вымершем восточногерманском языке древних готов. На готском языке не сохранилось почти никаких текстов, кроме Библии. Зато Библия переведена на готский непосредственно с греческого, и там как раз верблюды упоминаются – вспомним знаменитую притчу о том, что проще верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Есть, правда, мнение, что евангелист имел в виду не *kámēlos*, верблюда, а *kámilos*, корабельный канат, но проверить его нельзя, поскольку первоначальные рукописи Нового Завета не сохранились. Так вот, готский переводчик Ульфила использовал для передачи греческого *kámēlos* слово *ulbandus*. Похоже на нашего “вельбуда”, не правда ли? Особенно если учесть, что исходно вместо У в славянском слове стояла буква ѫ (“юс”), которая читалась как носовое [õ]. По-польски до сих пор “верблюд” – *wielbłąd* (буква А с “хвостиком” как раз и обозначает [õ], носовой звук, уцелевший в польском с древних времен). Итак, к славянам, по всей видимости, это слово попало из готского.

Но и это еще не начало истории. Трудно представить себе, чтобы у германского племени было собственное название верблюда: германцы и верблюды исторически обитали далековато друг от друга. Тоже заимствование? Оказывается, да. Лингвисты

опознали в этом слове… греко-латинское обозначение слона: *elephas*, в косвенных падежах – с основой *elephant-* (латинский родительный падеж звучит как *elephantis*, греческий как *eléphantos*). Современное английское *elephant* оттуда же. Превращение [f] в [b] вполне естественно: многим латинским словам с [f] соответствуют родственные германские слова с [b]. Например, латинскому *frater* “брат” соответствует английское *brother,* немецкое *Bruder*, а у готов это было *broþar* (буква *þ* означает тот же межзубный звук, что и английское th; когда-то она употреблялась и в древнеанглийском). Готы просто “пересчитали” заимствование по своим правилам произношения.

Как слон стал верблюдом? Названия животных довольно часто переносятся на другие объекты. Мы называем *летучей мышью* животное, которое совсем не родственно мыши, и *морским котиком* животное, не имеющее отношения к котам. И много ли у *гиппопотама* (по-гречески “речная лошадь”) общего с лошадью? Но древние скандинавы умудрились усмотреть нечто лошадиное даже в морже, назвав его *hrossvalr* (“лошадь-кит”). Заметим, во всех этих случаях речь идет о животных, которых носители языка могли наблюдать воочию. Готы же, скорее всего, ни слона, ни верблюда не видели, и оба животных были для них одинаково огромными и мифическими.

Каким образом готское слово попало к славянам, загадка с исторической точки зрения. Первый славянский перевод Библии – Кирилла и Мефодия – появился во второй половине IX в., когда

мало кто уже говорил на готском: община готов, сохранявших родной язык, в это время оставалась только в Крыму и жила довольно изолированно[66]. Тем более что готы принадлежали к арианской ветви христианства, которая была признана ересью и в VI–VII вв. искоренена; литературу на готском языке, включая готскую Библию, в это время практически уничтожили (вот почему до наших дней дошло так мало памятников готской письменности). Не менее трудно представить себе и присвоение этого слова живой славянской речью в дохристианскую эпоху – вряд ли у славян в их регионах обитания была настоятельная потребность как-то называть верблюдов. Может быть, у франков, обитавших в Великой Моравии, куда отправились Кирилл и Мефодий со своей миссией, все же сохранялись на тот момент какие-то списки готской Библии? Или же Кирилл и Мефодий могли найти такую рукопись в Паннонии, где она осталась от времен готского владычества Теодориха Великого? Эта загадка, вероятно, так и останется нерешенной.

История слона-верблюда, однако, тянется еще дальше в глубь времен. В Греции и Риме слоны, разумеется, не водились, так же как и на землях германцев или славян. Греки, а потом и римляне, познакомились со слонами только при контактах с землями Северной Африки. Источник греческого слова *eléphas* обнаруживается, соответственно, в афразийских языках. Это слово склеено из двух компонентов – *elu* “слон” и *ābu* (тоже “слон” или же “слоновая кость”[67]). Таким образом, фантастический гибрид слона и верблюда оказывается еще и ходячей тавтологией – “слон-слон”!

Происхождение русского слова *слон*, впрочем, и вовсе таинственно. Многие лингвисты склоняются к мысли, что оно получилось из тюркского *aslan* – “лев”! (Кто читал “Хроники Нарнии” К. С. Льюиса, тут же вспомнит льва Аслана.) Как мы видим, не только слоны превращаются в верблюдов, но и львы в слонов.

Итак, одно из приключений, которые может пережить слово – сдвиг значения. На самом деле это самая распространенная трансформация, которую переживают слова при заимствовании. Вот лишь небольшой список слов, изменивших свои значения в других языках:

● рус. *алкоголь*, англ. и исп. *alcohol*, нем. *Alkohol* < араб. *al-koḥl* “сурьма” (с артиклем *al-*);

● рус. *бланк* < нем. *Blankoscheck* “незаполненный чек”[68] < франц. *blanc* “белый”;

● рус. *огурец* < греч. *ágouros* < *áōros* “незрелый” (так как главная особенность огурцов в том, что их, в отличие от других

плодов, едят незрелыми);

● рус. *поганый* < лат. *paganus* “язычник” (первоначально “деревенщина”);

● рус. *утиль* < франц. *utile* “полезный”;

● рус. *ябеда* < *ябедник* “клеветник” < *ябетникъ* (первоначально “должностное лицо в суде”) < древнесканд. *embǽtti* “служба” < галльск. *ambactus* “гонец”;

● англ. *babushka* “способ завязывать головной платок”, а также вариант названия матрешки < рус. *бабушка*;

● англ. *chagrin* “огорчение” < франц. *chagrin* “шагрень”, но также и “огорчение” (обыграно в “Шагреневой коже” Бальзака) < тюрк. *sagri* “сорт кожи”.

## 2. “Раздвоение” слова

Это достаточно типичный случай, и происходит такое, когда из разных языков в один и тот же язык заимствуются когнаты, то есть слова общего происхождения. Классический пример – это пара *проект/прожект*. Ни в одном из языков Западной Европы такой пары нет, везде это одно и то же слово, и пишется оно через J: англ. *project*, нем. *Projekt*, франц. *projet*, итал. *projetto*. Все эти слова восходят к латинскому *projectus*. Произносятся они по-разному, в зависимости от языка – где-то через [j], где-то через [ʒ] или [dʒ], но в рамках одного и того же языка никаких разночтений не бывает. Только в русском языке это слово звучит по-разному в зависимости от того, как мы относимся к данному “проекту”: если нейтрально или положительно, то это *проект*, а если мы сомневаемся в его успехе и намерены его обругать, то *прожект*. Причем если с происхождением *проекта* все понятно (оно определенно немецкое), то *прожект* выглядит странно: произношение через [ʒ] характерно для французского, но во французском слове нет звука [k]. Судя по всему, это обратное образование от *прожектера* (франц. *projecteur*).

Бывает и так, что раздвоение чисто звуковое, не влияющее на смысл. Его можно наблюдать в паре *рента/рантье*. Рантье и есть тот, кто живет на ренту. Просто слово *rent(e), Rente* в английском и немецком читается так, как пишется, а во французском подчиняется общему правилу, по которому сочетание *en* произносится как носовое [ã]. В русском же языке этот французский звук, за неимением лучшего, передается как *ан*.

Бывает, что раздвоение разводит значение слов довольно далеко, и речь уже не идет об эмоциональной окраске – возникают совершенно разные смыслы. Мы уже упоминали *шубу* и *юбку*, независимо в разное время попавшие в русский язык из арабского. Намного ближе друг к другу оказались *шапка* и *кепка* – оба восходят к латинскому *caput* “голова”, от которого в средневековой латыни было образовано слово *cappa*, “головной убор”. Первое пришло в русский язык через французское посредничество, второе – через англо-немецкое. В принципе, некоторые головные уборы, например бейсболку, можно называть и *шапкой*, и *кепкой*. Гораздо меньше общего у *гитары, цитры* и *кифары* – кроме того, что все это струнные инструменты и их названия происходят от греческого *kithára*.

Серьезная лингвистическая подготовка нужна, чтобы распознать общее происхождение слов *роза, русалка* и *рожа* (“заболевание”). С *розой* все более-менее ясно: название этого

цветка заимствовано из латыни и звучит сходно во всех европейских языках. А как с ней связаны рожа и русалки? По-немецки болезнь, как и цветок, называется *Rose* (такие поэтические ассоциации у немцев вызвало покраснение кожи при воспалении). От немцев это название перешло к чехам и полякам, которые произносят в этом слове вместо [z] – [ʒ]: *růže* по-чешски, *róża* по-польски; среди восточных славян так говорят белорусы – *руожа*. На русской почве это название было переосмыслено по созвучию с *рожа* “неприятное лицо”. История *русалок* еще длиннее. Женские духи, обитающие в воде, известны в поверьях всех славян, но только в России они называются *русалками* – их исконное название, по-видимому, *вилы*. Дело в том, что слово *русалки* – достаточно позднее обратное образование от названия праздника *Русальная неделя*, то есть первая неделя после Троицы. Что бы там ни думала церковь о суевериях, у народа была своя логика: в фольклоре многих стран существует убеждение, что нечисть ведет себя особенно активно в праздничные дни. Поэтому духи, особо “достававшие” людей во время Русальной недели, получили название *русалок*. Сама же неделя первоначально называлась *Русалии* – от латинского *rosaliae*, “праздник роз” (в более теплых краях для празднования Троицкой недели использовались розы – у нас их заменителем стали березовые ветки с распустившейся зеленью).

А почему, например, и фрукт, и китайский чиновник

называются *мандарин*? Вначале это слово означало только китайского чиновника, а название фрукта возникло из усеченного словосочетания “мандаринский апельсин” (исп. *naranja mandarina*, англ. *Mandarin orange*[69]).

Наконец, раздваиваться могут имена: 700–800 лет назад имя *Юрий* было фонетическим вариантом имени *Георгий* (в древнерусских летописях встречаются формы *Георгий* – *Гюргий* – *Юрий*). На самом деле это имя даже не раздвоилось, а растроилось: третий вариант – *Егор*. В древнерусской “Повести о разорении Рязани Батыем” фигурирует князь Ингварь Ингоревич (именно так!). Современное имя *Игорь* – то же самое скандинавское *Ingvar*, только заимствованное столетиями раньше; варианты *Ингварь* и *Ингорь* возникли при вторичном заимствовании. Впоследствии победил наиболее удобопроизносимый.

# 3. Путешествие слов за границу и обратно

В Париже на стене одного из ресторанчиков Монмартра висит мемориальная доска, посвященная слову *бистро*. На ней написано, что появилось оно после взятия Парижа союзными войсками в 1814 г. когда голодные и не владевшие французским солдаты Александра I требовали накормить их “быстро”; в результате слово *bistro* стало первым специальным обозначением закусочной быстрого обслуживания (говоря нынешним англизированным языком, фастфуда). Те, кто был в достаточно сознательном возрасте в 1990-е, наверное, помнят сеть кафе “Русское бистро”, на вывеске которого был изображен гусар александровских времен (почему-то бородатый). Название обыгрывало именно историю происхождения слова. Впрочем, соотношение цены и качества подававшейся там еды оставляло желать лучшего, и ресторанный бум нулевых смел эту сеть, как цунами, – она просто не выдержала конкуренции. Популярность слова *бистро* в России с тех пор несколько упала, но не в этом суть. Ирония состоит в том, что эта растиражированная версия идет вразрез с лингвистическими изысканиями. В частности, французский этимологический словарь Robert связывает слово с диалектным (Север Франции) *bistouille* “пойло, плохой алкоголь”, а “русский след” в этой истории квалифицирует как чистую фантазию. Однако это не мешает не только нам, но и многим французам принимать этот миф на веру.

Зато слово *пистолет* действительно исконно славянского происхождения, хотя об этом мало кто знает. Да-да, как ни странно, это наше слово, побывавшее за границей и вернувшееся к нам. Напомним, что стрельцы XVII в. называли огнестрельное оружие *пищаль*. Разумеется, пистолет не пищит – пищит дудочка, на которую похоже его дуло. Ручное огнестрельное оружие изобрели в Чехии во время гуситских войн и назвали “дудкой”, то есть *пищалью*. Чехи, пользовавшиеся латиницей, записывали его как *píšťala*. В таком виде оно попало в английский, где ныне звучит как *pistol*. А нынешняя русская форма *пистолет* – из французского, с типично французским уменьшительным суффиксом *-et*.

Но и это не самое экстремальное, что может произойти со словом, заплутавшим между разными языками.

# 4. Зверинец Франкенштейна

Со словами действительно может случиться все. Их могут расчленить, выкроить из обрезков новые слова и даже сшить из разных кусков настоящих монстров. Такими монстрами, например, являются старое слово *светофор* и сравнительно новое *домофон*. Оба слова двусоставные, у обоих первый корень – исконно русский, а второй – нагло и бессовестно греческий: *phor-* “носить” (ср. *семафор, метафора*, а также названия животных типа *сифонофоры*) и *phōn-* “звук” (ср. *телефон, магнитофон, фонетика*). Как мы видим, оба этих корня продуктивно использовались для образования новых слов, но обычно к ним все-таки добавляли греческие же компоненты. Грибоедов в свое время морщился от смешения “французского с нижегородским”. Интересно, что бы он сказал, если бы дожил до появления *светофора* и *домофона*? Однако оба слова прижились в языке и кажутся вполне естественными.

Особенно экзотично происхождение английского слова *bus* “автобус”. Возможно, в детстве вы задумывались над тем, что слова *автобус* и *троллейбус* оба обозначают виды транспорта, оба оканчиваются на *-бус*, и наверное, это что-то значит. Знакомство с английским языком подтверждает догадку: в английском есть *bus* и *trolleybus* (дословно “автобус с роликовым приспособлением”). Ну, а *bus* все-таки что такое?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно отправиться в эпоху до изобретения автотранспорта. Первый общественный транспорт, появившийся в начале XIX в., по-русски в просторечии назывался *конка* – это был вагон, передвигавшийся по рельсам, который тянули кони. Официальное же его название было *омнибус* – от латинского *omnibus* “всем” (первая фирма, которая начала оказывать услуги общественного транспорта, использовала это слово в своем рекламном слогане). Слово быстро стало названием самого транспорта – сначала во французском, а потом и в других европейских языках. Уже в 1830-е гг. с омнибусами принялись экспериментировать: делать их паровыми, электрическими, а с конца XIX в. и бензиновыми, поскольку именно тогда появилось автомобилестроение. *Автомобильный омнибус* звучало слишком длинно, и его тут же сократили до *автобуса* (франц. *autobus*). Англичане, в свою очередь, подарили миру слово *троллейбус* – от *trolley* “тележка” (возможно, вам встречалось это слово – им до сих пор называется тележка в аэропорту или супермаркете). В нашем случае имеется в виду ролик, с помощью которого троллейбус передвигается

вдоль провода. Интересно, что изобрели этот вид транспорта немцы, а его современное название появилось в Англии, после того, как в 1911 г. троллейбусные линии запустили в Лидсе и Брэдфорде. Оригинальное немецкое *Elektromote* не прижилось. Причины, по которым язык принимает или отвергает слово, иногда неочевидны. В данном случае, похоже, сыграло роль то, что *троллейбус*, в отличие от *электромота*, образовывал общую систему с *автобусом* и *омнибусом*. Язык "любит" системность и всегда "предпочитает" упорядоченность хаосу.

Дальше было уже делом техники выделить в этих названиях одинаковый элемент *bus*, который стал восприниматься как обобщающее название городского пассажирского транспорта. (Что интересно, трамвай в эту категорию не входит, хотя технически исходный омнибус был именно трамваем, так как передвигался по рельсам.) При том, что в латинском слове *omnibus*, с которого все начиналось, нет никакого корня *bus*, а есть окончание *-ibus*. Такая расчлененка напоминает продукт совместного творчества Франкенштейна и доктора Моро!

## 5. Смена “социального статуса”

У слова есть не только форма и значение, но и определенные правила употребления. Объем значений слов *волосы/власы, ворота/врата, город/град* (не метеорологический феномен, конечно) абсолютно совпадает. Речь идет об одних и тех же денотатах – то есть предметах, называемых этими словами. Но в рекламе шампуня будут все-таки *волосы*, а *власы* – у какого-нибудь ангела на иконе. Неполногласные варианты слов, заимствованные из южнославянского, где они были вполне бытовыми, в русском языке оказались элементами возвышенного стиля, поскольку попали туда через церковнославянский. Для болгар и сейчас ворота – *врата*, а город – *град*. Слово *власы*, правда, вытеснилось словом *коса*, зато *длан* в значении “ладонь” прекрасно себя чувствует, правда, мягкий знак потеряло. Между прочим, наше слово *ладонь* и есть полногласный вариант церковнославянского *длань*, хотя с первого взгляда этого не понять: в древности оно звучало как *долонь*. Сначала в нем произошла метатеза, и *долонь* стала *лодонью*, а потом появилось аканье, и люди стали писать А там, где слышали. *Длань* же так и осталась *дланью*: церковнославянский язык весьма консервативен (он тоже менялся, как всякий язык, но крайне медленно). А все из-за того, что когда-то христианские миссионеры на Руси поленились создавать собственный перевод Библии и воспользовались готовым кирилло-мефодиевским. Отличия “языка Библии” от русского разговорного (в ту пору они были существенно меньше, чем сейчас) стали восприниматься как признак его особой сакральности, а неполногласные слова, войдя в русский литературный язык, образовали совершенно особый стилистический пласт возвышенной лексики – не имеющий аналогов в большинстве европейских языков. Даже английские пары исконных и заимствованных слов типа *blue/azure, green/verdure* (“синева” и “зелень” соответственно) не являются полным аналогом, так как французские заимствования в английском, выполняющие функции возвышенной лексики, не образуют системы и совсем непохожи на соответствующие английские слова.

Куда реже встречаются примеры, когда возвышенным стал, наоборот, исконно русский полногласный вариант: *ворог* (нейтральное – *враг*) и *полон* (нейтральное – *плен*). Однако у этих слов специфическая окраска, связанная с фольклором или стилизацией под фольклор.

Более интересная судьба у слова *очи*, общего для всех

славянских языков. Например, для украинцев и болгар это до сих пор обычное разговорное слово. А в русском языке оно оказалось вытеснено в сферу возвышенной лексики. Место нейтрального названия органа зрения заняло германское заимствование – *глаза*. Оно родственно английскому слову *glass* “стекло” и зафиксировано впервые в “Повести временных лет”, причем очевидно, что для древнего летописца это слово имело значение “стеклянные бусы”:

> Пришедшю ми в Ладогу, повѣдаша ми ладожане, яко сдѣ есть: “Егда будеть туча велика, находять дѣти наши глазкы стекляныи, и малы и великыи, провертаны, а другые подлѣ Волховъ беруть, еже выполоскываеть вода”, от нихъ же взяхъ боле ста, суть же различь.
>
> (Когда я прибыл в Ладогу, ладожане мне рассказывали, как тут бывает: “Если появляется большая туча, наши дети находят стеклянные *глазки*, большие и маленькие, просверленные, а другие подбирают возле Волхова, когда их вымывает водой”, – и я получил от них более сотни, все разные.)

Вероятно, среди этих бус были и такие, на которых действительно изображены глазки – археологи называют их глазчатыми, и они действительно часто попадаются на территории России, особенно в Ладоге[70]. Такие украшения относятся к эпохе викингов и во времена летописца, жившего в начале XII в., конечно, были уже археологической древностью. Происхождение их было неизвестно, и неудивительно, что все думали, будто бусы падают из тучи. Несомненно, слово *глазки* было перенесено впоследствии на глаза живых существ по аналогии с бусами. Мы и сейчас часто сравниваем глаза детей и животных с бусинами. Так исконное слово *очи* оказалось вытеснено в стилистический ряд возвышенной лексики, к церковнославянским заимствованиям.

Заимствованные слова могут образовать и прямо противоположный пласт лексики – разговорный, подчеркнуто нелитературный. Такую функцию в русском языке 1960–1970-х гг. выполняли англицизмы, ставшие основой для целой системы молодежного жаргона: *шузы* (от *shoes* “обувь”), *флэт* (*flat* “квартира”), *хаер* (*hair* “волосы”), *герла* (от *girl* “девушка”) и т. д. Эта манера изъясняться сразу же стала объектом шуток и пародий. В фильме “Джентльмены удачи” (1971) один из персонажей, начиная изучать английский, переводит слово *девушка* как *чувиха* – вместо *girl:* для него все эти английские слова воспринимаются как сленг другой среды и другого

поколения, стилистически чуждый ему, все равно что иностранный. А британский писатель Энтони Берджесс в своем романе “Заводной апельсин”, прославившемся благодаря экранизации Стэнли Кубрика, вывернул русскую жаргонную систему наизнанку и заставил своих героев в футуристической Англии вставлять в речь русские слова, написанные латиницей: *moloko, droog, devotchka, nozh, molodoy, koshka, brosay* (т. е. *бросай*) и т. д. Сам этот язык в романе называется *Nadsat* (“Надцать”) – буквальный перевод английского *teen*, которое впоследствии вольготно устроится в русском языке в составе слова *тинейджер*. Это изобретение Берджесса не случайно – за год до написания романа он побывал в Ленинграде, где, вероятно, вместе с литературным русским языком впитал и кое-что из нарождающегося сленга. Должно быть, носителю английского языка было очень забавно слышать, как привычные ему слова используются в чужом языке в качестве жаргона. Решение проделать то же с русским языком напрашивается просто само собой!

Правда, в отличие от русского жаргона на основе англицизмов, “Надцать” так и остался вымышленным языком литературных персонажей – реальные английские подростки на нем не заговорили. Не могу, конечно, поручиться, что не существует фан-клубов Берджесса, где этот язык используется, – используют же поклонники Толкиена вымышленные им эльфийские языки. Но в широкое бытовое употребление он не вошел.

В русском языке есть и еще одна “диаспора” иностранных слов, образовавшая особое сообщество: морской жаргон. Он состоит по преимуществу из английских и нидерландских заимствований (их не всегда можно различить по происхождению, так как лексически английский и нидерландский языки очень похожи, а при русской транслитерации фонетика искажается). Мы уже встречались с наиболее курьезным примером морского жаргона в предыдущей главе – английское *Ring the bell* превратилось в *Рынду бей*, а слово *рында* оказалось переосмыслено как название колокола. Однако большинство “морских” заимствований сохранили свой иностранный облик: *штурвал* (англ. *steering wheel* “рулевое колесо”, вероятно, смешанное с нидерландским *stuur* с тем же значением[71]); *клипер* (англ. *clipper*, от *clip* “резать” – в том же значении, в котором мы употребляем слово *рассекать*); *линь* (англ. *line* “веревка, рыболовная леска”) и т. д. С этой подчеркнутой иностранностью морских терминов связан интересный феномен – морской жаргон обрел своего рода эзотерическую сакральность, особенно в

субкультуре советских детей.

Всем, кто воспитан на детской литературе времен СССР, известно, что для ее героев знать загадочные морские слова означало быть уже наполовину моряком. И чем раньше юный герой освоит морские термины, тем, говоря нынешним языком, круче. Вот характерный пример:

> Помните раз и навсегда – в морском деле не было и не существует слово “веревка”. На корабле есть в а н т ы, есть ф а л ы, есть ш к о т ы, есть канаты якорные и причальные. Самая обыкновенная веревочка на корабле называется к о н е ц.
>
> Но если вы в открытом море скажете “веревка” – вас молча выбросят за борт, как безнадежно сухопутного человека.
>
> *(А. Н. Толстой, “Как ни в чем не бывало”,1925)*

Но недавно мне случилось прочесть в оригинале популярнейший среди советской детворы английский роман – “Остров сокровищ” Стивенсона. Чтение меня ошеломило. Нет, то, что переводы и оригиналы могут резко отличаться, для филолога не новость. Новостью оказалось то, что у англичан, обитателей морской державы, отсутствует такой пласт языка, как морской жаргон! Язык, на котором общаются мореплаватели в романе,

совершенно прозрачен и лишен всякой эзотерики.

В самом деле, в английском языке нет *кока*, а есть *cook* – просто “повар” (этим словом называется и кухарка). Нет *бимса*, а есть *beam* “балка”. Нет *топселя*, а есть *topsail* “верхний парус”. И конечно, процитированное место из детского рассказа А. Н. Толстого озадачит английского переводчика до полного выноса мозга. Для англичан веревка – она и есть веревка, *rope;* а если потолще, то *cable;* а словом *line*, от которого происходит наше *линь*, английские домохозяйки называют веревку для сушки белья. На английском корабле очень мало слов, которые не были бы интуитивно понятны домохозяйке.

А вот русскому языку зачем-то понадобился целый словарь особого жаргона, составленного из иностранных слов. Несложно догадаться, что появился он при Петре I, вместе с созданием российского флота. Но в петровское время русский язык был переполнен и другими заимствованиями, которые не задержались в нем, – мы не говорим, например, *виктория*, мы все-таки предпочитаем слово *победа*. Ну что бы случилось, если бы *кок* стал *поваром*? Но, очевидно, мореплавание в России воспринимается как занятие для посвященных, требующее особого магического языка. Англичанам же, которые полторы тысячи лет с морем на “ты”, не нужно доказывать свою причастность к эзотерическому таинству.

Напоследок стоит сказать и еще об одном специализированном языковом пласте, собравшемся из заимствований. Он общий для всех языков, по крайней мере европейских. Речь идет о языке научной терминологии, основой для которого стала латынь. Животным и растениям, как известно, принято давать латинские названия. Когда создавались первые классификации живого мира – такими исследователями, как Карл Линней (1707–1778), – специального словаря науки еще не было. Ученые просто писали все свои работы целиком на латыни, поскольку латынь считалась престижным языком античных мудрецов. Разумеется, древние римляне и не думали создавать язык научной терминологии для будущих поколений – они называли свинью *sus*, а овцу *ovis* в обычной повседневной речи. Но ученым требовались более подробные описания: например, *Sus scrofa* (“дикий кабан”; оба названия, родовое и видовое, означают “свинья”). Домашняя свинья, соответственно, получила название *Sus scrofa domesticus*. Эта система наименований животных и растений оказалась чрезвычайно удобной. Когда демократизация науки привела к отказу от латыни и ученые стали публиковаться на национальных языках, от латинской системы названий не отказались (хотя, например, в России и существует параллельная

система русских эквивалентов). Так латинские названия стали “научными”. Новооткрытым животным и растениям, о которых римляне не знали, еще во времена Линнея стали придумывать названия по латинскому образцу. Но вот беда – разнообразие живых организмов, современных и ископаемых, в мире оказалось так велико, что латинских названий для всех не хватает. Поэтому современный словарь названий видов включает заимствования из самых разных языков – даже эскимосского! Я не шучу: открытый в 2006 г. ископаемый предок наземных позвоночных получил название *Tiktaalik*, что на языке инуктитут (восточно-канадских эскимосов) означает “налим”. Разумеется, названия оформляются по образцу латинской грамматики, и тиктаалик получил видовое название с латинским окончанием – *Tiktaalik roseae*[72].

Так что обычное слово, попав в другой язык, может стать возвышенным, жаргонным или ученым; может поменять значение до полной неузнаваемости, может раздвоиться или вернуться на родину с иностранным паспортом; может быть разрезано и склеено самым фантастическим образом. А еще оно может подвергнуться операции по перемене пола. Ну, то есть рода. Это такая занимательная и непростая тема, что ей лучше посвятить отдельную главу.

# 6. Это не мое кофе, или Кто боится трансгендеров?

Пожалуй, самый скандальный случай родовой принадлежности иностранного слова в течение уже многих десятилетий – пресловутый *кофе*. Или все же пресловутое? Слово *кофе* попало в крайне странную ситуацию. С одной стороны, средний род для него известен филологам давно: та же И. Б. Левонтина указывает на пример из творчества Марка Алданова (1886–1957)[73]. С другой стороны, употребление его в среднем роде по-прежнему воспринимается как новомодное варварство – в штыки.

А почему, собственно, кофе должен быть мужского рода? В русском языке слова, оканчивающиеся на Е, обычно среднего рода – как исконные, так и заимствованные: *поле, море, кашне, кафе*… между прочим, *кафе* и значит "кофе" по-французски. Откуда же взялся мужской род? Когда в популярных очерках пытаются это объяснить, часто вспоминают о существовании формы *кофий*: мол, вначале говорили *кофий*, а потом слово изменилось, а мужской род остался. Вот утверждение, с небольшими вариациями кочующее по разным сайтам интернета:

> К слову, еще задолго до появления первой стилистической грамматики русского языка, написанной Чернышевым, слово "кофе" однозначно определялось как имеющее мужской род. Так, в словарях русского языка оно начало появляться с 1762 г., и тогда чаще говорили не "кофе", а "кофий" или "кофей". Последние две формы без всяких сомнений имеют мужской род, и очевидно, что сегодняшний "кофе" наследует его от своих более ранних версий[74].

Или даже такое:

> Считается, что заимствовали мы английский вариант слова coffee или голландский koffie. Последнее кажется наиболее верным, потому что русская транслитерация оказалась ближе к голландской. В нашей стране слово произносили, как кофей или кофий. Так и говорили: "Подайте, милейший, мне кофею чашечку!"
>
> В соответствии с правилами русского языка слово отнесли к мужскому роду. С течением времени

последняя буква отвалилась. Так и появилось в нашем языке слово “кофе”, которое имеет мужской род и не изменяется по падежам и числам[75].

Минуточку, что-то тут не так. Где в английском и нидерландском словах последняя буква, которая должна была отвалиться? Оба заканчиваются на E. Получается, что ее вначале приделали зачем-то, а потом оторвали? Для чего?

Если обратиться к другим языкам, мы увидим, что второй слог этого слова – открытый, кончающийся на гласный: франц., исп. *café*, нем. *Kaffe*, итал. *caffè*, румынск. *cafea*. И конечно, в турецком, откуда это слово попало в другие языки – *kahve*. В родственном ему узбекском – *qahva*. Никакого *-ий* или *-ей* на конце. Стало быть, лишнюю букву (и звук) именно приделали. Причина для такой операции может быть только одна: слово уже было мужского рода, и для того, чтобы его склонять по русскому мужскому роду, понадобился дополнительный согласный – по образцу слов *край, рай, улей*. Возможно, сыграло роль также прилагательное *кофейный*, от которого мог образоваться *кофей* (в лингвистике это называется обратной деривацией). Однако сравним пару *кофейный* и *желейный*: никакого *желея* в русском языке нет, и слово *желе* отлично себя чувствует в среднем роде. В отличие от *кофе*.

Во французском языке слово *café* мужского рода – *le café*. Оно и не могло быть среднего рода, так как во французском есть только мужской род и женский (средний давным-давно отмер). Поэтому мужской род русского слова *кофе* естественнее всего объяснять французским влиянием. Если что и необъяснимо, так это английская огласовка на *o*, ведь в большинстве остальных европейских языков, с которыми контактировал русский в XVIII в., это слово пишется и произносится через *a*. При этом в английском почти все названия неодушевленных предметов – среднего рода. Межъязыковые влияния иногда бывают крайне причудливыми.

Как ни странно, поначалу слово *кофе* в русском языке все же колебалось между мужским и средним родом, о чем свидетельствует Национальный корпус русского языка:

> …наконец поднесено Посланнику кофе.
>
> *(Журнал “Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие”, январь – июнь 1755)*

Если варится для детей особенно слабое кофе, то вред от оного состоит только в том, что он слабит без

нужды желудок, как то делает всякий теплый и водяной напиток. ‹…› Но обыкновенное крепкое кофе, употребляемое взрослыми людьми, гораздо опаснейшие для детей имеет действия.

*(“О воспитании и наставлении детей”, 1783)*

Зато мы с италиянцем пьем в день чашек по десяти кофе, которое везде находили.

*(Н. М. Карамзин, “Письма русского путешественника”, 1793)*

Последний пример особенно замечателен – основоположника современного русского литературного языка никак невозможно упрекнуть в малограмотности. И все-таки, как мы видим, автор “Бедной Лизы” и “Истории государства Российского” считал вполне возможным использовать слово *кофе* в среднем роде.

Расхожее объяснение – дескать, раньше говорили *кофей*, и с тех пор остался мужской род, – тоже хромает. Если обратиться к уже упомянутому Национальному корпусу русского языка, то оказывается, что в промежутке между 1700 и 1800 г. форма *кофей* встречается всего 15 раз, *кофий* – 25 раз, тогда как форма *кофе* – 84 раза. То есть уже в XVIII в. преобладающим вариантом был *кофе*. В текстах XIX в. (их существенно больше) *кофей* встречается 514 раз, *кофий* – 93 раза, а вот *кофе* – 1593 раза! Причем первый же взгляд на примеры слов *кофей* и *кофий* из XIX в. обнаруживает, что эти варианты используются в основном как стилистически сниженные, ассоциирующиеся с речью социальных низов или вульгарных малообразованных провинциалов. В последней четверти XIX в. произношение *кофий* даже закавычивают:

Она, в противность ханжушке-постнице, не откажется ни от рюмки доброй старой вишневки, ни от чашки “кофию”, если только угощение следует от солидной и “стоящей” компании.

*(А. И. Куприн, “Киевские типы”, 1895–1897)*

К девочке, находящейся в услужении или даже в учении (а особенно в услужении), пока ей идет год одиннадцатый, двенадцатый, “посылают деревенского гостинца”, а у ней осведомляются: “нет ли у тебя кофию и сахару”. Хозяева или лавочник, у которого забирают для дома, дарит девочке фунт кофе, и она его посылает с

детской радостью. Это – начало. Дома “кофий” пьют и шутят: “пропили Саньку”. Но чуть девочка подрастает (лет с 14-ти) – ей начинают уже кроме кофе напоминать, что “дома трудно” и что “нельзя ли тебе самой достать где-нибудь хоть на пашпорт” (“кофий” пойдет уже на всю жизнь).

*(Н. С. Лесков, “Пагубники”, 1885)*

Обратим внимание: для самого Лескова кофе – *кофе*, слово *кофий* служит для передачи вульгарной деревенской речи, да еще и в отвратительном контексте вовлечения девочек в проституцию. Мы привычно воспринимаем Лескова как автора орнаментальной, сказовой, балагурской прозы, густо пересыпанной “народным” языком, однако Лесков был мастером стилистического чутья и умел, когда это нужно, дистанцироваться от своих персонажей. Его родным языком был все-таки литературный русский.

Итак, вариант *кофе* был основным с самого начала, а *кофей* и особенно *кофий* перестали быть литературной нормой еще к концу позапрошлого века и воспринимались как вульгарные. (Кажется, один из немногих авторов второй половины XIX в., употреблявший форму *кофей* без иронии, – Лев Толстой в “Анне Карениной”.) Так что теория, будто мужским родом нынешнее слово *кофе* обязано форме *кофий*, не подтверждается.

Более того, похоже, что впервые слово *кофе* было употреблено в русском языке именно в среднем роде. Около 1895 г. антиквар Ф. Л. Герман опубликовал любопытный документ – список рекомендаций английского врача Самюэля Коллинза царю Алексею Михайловичу от 20 января 1665 г. Широкую известность получил следующий пассаж из него, с многочисленными сокращениями и вариациями разлетевшийся по научно-популярной литературе:

> Изряднее ко отонченію приспособляетъ вареное кафе, персянемъ и туркомъ знаемое и обычайное послѣ обѣдѣ, вареное чаге листу ханского [так в тексте; у последующих авторов исправлено на “хинского”. – *М. Е.*] но свѣжа изрядное есть лекарство против надменій, насмарков и главоболѣній[76].

К сожалению, следы этого уникального документа с тех пор затерялись. Он ни разу не переиздавался и отсутствует в Национальном корпусе русского языка. Если это не мистификация, то перед нами самый ранний пример употребления слова *кофе* в русском языке, пусть и в несколько непривычной форме – *кафе* (хотя общепит вовсе не подразумевается), причем в явном среднем роде.

Почему общественное мнение так настаивает на мужском роде слова *кофе* – загадка, учитывая, что большинство несклоняемых заимствований на *-о* и *-е* благополучно приняло средний род: *суфле, пальто, метро* и пр. Более того, у *кофе* имеется двойник – *какао*. Возможно, в школе вы обратили внимание на то, что у Тургенева в романе “Отцы и дети” Павел Петрович Кирсанов говорит “мой какао”. Но уже для наших бабушек *какао* было среднего рода, и никому не приходит в голову упрекнуть человека, говорящего “мое какао”, в безграмотности.

Возможно, дело в ореоле социального престижа и элитарности, которым обладает в России кофе. Принадлежность к элите должна маркироваться особым языком, которым не владеет “плебс”, – в частности, “правильным” произношением иностранных слов, обозначающих предметы статусного быта (в том числе *кофе*). Замечу, что далеко не во всех культурах кофе воспринимается как изысканный напиток. У немцев, например, социальным престижем еще недавно наделялся чай, а кофе считался напитком деревенщин[77]. Впрочем, что собой представлял “кофе”, который пили немецкие крестьяне, можно узнать из переведенного в советское время романа Э. Штритматтера “Лавка”: использовался для этих целей

обжаренный ячмень, к которому более зажиточные могли добавлять немного настоящего кофе.

Подтверждением тому, что мужской род слова *кофе* связан с идеей социального престижа, служат многочисленные современные шутки на тему того, что род зависит от качества – плохой кофе в среднем роде называть можно. Правда, здесь также вступает в игру имплицитно подразумеваемое слово *говно* с его средним родом.

Баталии вокруг слова *кофе* – курьез гендерной чувствительности, который практически не имеет аналогов. В большинстве случаев языку все равно, какого рода заимствованные названия неодушевленных предметов, лишь бы носителям языка было удобно ими пользоваться. Мы, например, употребляем слово *клипер* в мужском роде, поскольку оно оканчивается на твердый согласный, хотя в английском языке, откуда оно заимствовано, любой корабль женского рода. Примеры из французского, такие как *пальто, табло* уже приводились выше. Напротив, достаточно обширный класс французских заимствований типа *суп, салат, пляж* обрел в русском языке мужской род, хотя французские слова *soupe, salade, plage* женского рода. Это отразилось в болгарском, где соответствующие французские заимствования выглядят как *супа, салата, пляжа*. Почему-то для болгар женский род этих слов оказался настолько важным, что они даже нарастили окончание *-а*, тогда как русский язык смены рода не заметил.

С другой стороны, французские слова на *-ette* обычно сохраняют в русском языке женский род, наращивая окончание *-а* (*котлета*), а чаще всего и суффикс *-к-: кокетка, каскетка, кушетка*. Хотя конечное *-е* в соответствующих французских словах тоже не произносится.

Почему так происходит и чем это обусловлено? На этот вопрос крайне сложно ответить. Дело в том, что идея рода в русском языке довольно запутанна. С одной стороны, у нас есть род как грамматическая характеристика – существительные 2-го склонения (или, как его называют лингвисты, *о*-склонения), оканчивающиеся на согласный, всегда относятся к мужскому роду, даже неодушевленные предметы, не имеющие половых признаков. Это означает не более чем способ склонения: зная, например, что *стол* мужского рода, мы выводим родительный падеж: в единственном числе – *стола*, во множественном – *столов*. Но в русском языке есть и другой род – семантический. Например, слова 1-го склонения *дедушка* и *воевода* грамматически ничем не отличаются от слов *бабушка* и *балерина*. Они так же склоняются и так же образуют множественное число.

Они причисляются к мужскому роду и согласуются с прилагательными мужского рода (*старенький дедушка*) только потому, что обозначают лиц мужского пола.

Некоторые слова 1-го склонения обозначают любого человека независимо от пола, и такие принято относить к общему роду: *сирота, задира, растяпа, бедняжка*. Не премину отметить необычное поведение слова *умница*: у него есть как бы мужское соответствие *умник*, но эти слова не образуют гендерную пару! *Умница* – не феминитив от *умника*! Слово *умница* относится к человеку любого пола, когда мы хотим его похвалить, а вот слово *умник* – пейоративное, выражающее сарказм: “Ну ты умник!”. Название передачи “Умники и умницы”, притворявшееся, будто различие между этими словами чисто родовое, так и осталось единичным казусом.

Это длинное отступление понадобилось для того, чтобы показать, что в русском языке с категорией рода дело обстоит несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Употребляя исконные слова, мы используем категорию рода интуитивно, ориентируясь то на грамматику, то на семантику, или же на то и другое вместе, в зависимости от ситуации. Однако заимствования часто не совпадают с нашими интуитивными представлениями и ввергают нас в ступор.

Самый простой случай – несклоняемые существительные, обозначающие категории людей: *атташе, протеже, инженю*. Их род по определению может быть только семантическим: *атташе* и *протеже* будут общего рода, в зависимости от того, какого пола конкретный человек (хотя *атташе* еще недавно мыслился преимущественно в мужском роде, но это тоже вопрос семантики), а *инженю* – женского, поскольку обозначает женское ролевое амплуа. Так-так, минуточку… *амплуа* – среднего рода. Как *пальто* и *бюро,* несмотря на букву *-а* в конце. Почему? А потому что означает не самого человека, а некоторую функцию.

Несклоняемые заимствования, обозначающие неодушевленные предметы, как уже говорилось, имеют стойкую тенденцию переходить в русском языке в средний род – даже если они не оканчиваются на *-е* или *-о*, как русские слова среднего рода. Например:

> *шоссе, кашне, пенсне, турне, драже, фойе, карате, макраме, желе, реле, фуэте, канапе, кафе, шале, бланманже, суфле, купе, пюре, ателье, портмоне, досье, кабаре, каре* (а также слова, в русской транслитерации кончающиеся на *э: алоэ, каноэ*);
>
> *какао, метро, пальто, бюро, кимоно, кино, бистро, табло, ризотто, трюмо, эскимо, танго, депо, авокадо, радио, манто, плато, пианино, фортепьяно, кашпо, казино, лото, домино, лассо, трико, видео, контральто;*

– но также:

> *виски, мартини*[78], *харакири, регби, сари, жюри, такси, ралли, алиби, ассорти, пари; хокку, рагу, азу, шоу, барбекю, интервью, меню, рандеву.*

Что еще “хуже”, даже слова с исходом на *-а* оказываются несклоняемыми и принимают средний род, если потенциальный косвенный падеж противоречит нормам благозвучия русского языка. Это случается: 1) с односложными словами типа *бра, па*; 2)

со словами, в которых перед конечным *-а* отсутствует йотация – уже названное *амплуа, фейхоа, боа*. А вот слово *антраша*, например, могло бы принять женский род и склоняться как *анаша*, но втянулось в орбиту общего правила “как поступать с французскими заимствованиями, кончающимися на гласный”.

Есть, конечно, исключения: *жалюзи* мыслятся во множественном числе, как и различные роды штанов наподобие *галифе*, и здесь уже влияет семантика; слово *пенальти* мужского рода, а *авеню* женского (из-за русских синонимов: *удар* и *улица*). Но в целом названия неодушевленных предметов склоняются к среднему роду.

По-иному ведут себя названия животных: о млекопитающих мы свободно можем сказать *этот кенгуру* и *эта кенгуру, этот шимпанзе* и *эта шимпанзе* в зависимости от биологического пола животного. Названия птиц более условны: *какаду* и *эму* мужского рода, видимо, по аналогии со словами *попугай* и *страус* (ср. уточняющие *попугай какаду, страус эму*), а вот *колибри*, если верить словарной норме, женского[79]. Не очень ясно почему: то ли по роду слова *птица*, то ли потому, что миниатюрные размеры и красота птички ассоциируются с феминностью. В современном русском языке среди названий животных в принципе нет среднего рода: мы обязательно приписываем животному мужской или женский род, даже если оно гермафродит (*улитка*) или если грамматический род не совпадает с реальным полом (*выдра* может быть и самцом). Среднего рода могут быть только устаревшие и диалектные названия детенышей (*теля*).

Итак, несклоняемые заимствования в русском языке, если они обозначают неодушевленные предметы, а не животных или людей, тяготеют к среднему роду. *Кофе*, конечно, принадлежит именно к этой категории, и, скорее всего, у пуристов нет шансов победить в борьбе.

# 7. Инсульт туники, или Ложные друзья переводчика

В учебниках и популярной литературе по проблемам перевода часто встречается раздел о “ложных друзьях переводчика”, а порой им посвящают целые словари[80]. На всякий случай напомним – так называются слова иностранного языка, внешне похожие на слова вашего родного языка, на который вы пытаетесь что-то перевести, но с немного другим значением (а иногда и с совершенно другим). По-научному они называются *межъязыковыми паронимами*. Вот примеры наиболее типичных казусов, уже вошедших в переводческий фольклор:

> Сколько я встречал дичайших ошибок, причем порой даже в довольно хороших переводах! То в викторианской Англии джентльменов приглашают в публичный дом, хотя речь идет о пабе, то есть пивной (по-английски буквально public house). То переводчик живописует военного: сидит офицер в ресторане, а “грудь его туники заляпана фруктовым салатом”. И этот неряха преспокойно беседует с сенатором и его супругой. А все потому, что “фруктовым салатом” военные прозвали орденские планки – такие, знаете, пестренькие полосочки, которые носят вместо медалей, чтоб не слишком звенело. А “туника” – это “мундир” или “китель”, и прошу вас, читая переводную литературу, помните об этом. Гражданские, особенно в будущем, – Бог с ними, может, они и впрямь носят туники и тоги. Но военные, полагаю, и в будущем не станут обряжаться в античные хламиды![81]

В оригинале, конечно, английское слово *tunic*, которое может обозначать разнообразные типы верхней одежды, в том числе мундир военного. И разумеется, можно лишь от души посмеяться над невежеством переводчика, спутавшего *public house* с публичным домом – в наше время слово *паб* вполне прижилось в русском языке, и такую ошибку вряд ли кто сделает, сейчас не 90-е.

Но если оставить в стороне шуточки над горе-переводчиками, откуда берутся такие слова-ловушки? Иногда они возникают в близкородственных языках при историческом расхождении смыслов. Например, по-польски слово *czaszka*, обманчиво похожее

на наше *чашка*, означает “череп”, – но вспомним, что, когда мы роняем чашку на пол, от нее остаются *черепки*. В Болгарии же мне неоднократно приходилось наблюдать, как русские туристки в кафе просили “сметану” к салату и возмущались, получив упаковку… сливок для кофе. Что неудивительно, поскольку по-болгарски *сметана* и значит сливки (сметана в нашем понимании у болгар не в ходу, но для заправки салата вполне можно было попросить *кисело мляко*). Это результаты того, что современные славянские языки происходят от общего праславянского, разделившегося на разные ветви много веков назад[82]. Хотя они и родственны друг другу, но долгое время развивались отдельно, и значения слов со временем менялись по-разному.

Но часто “ложные друзья”, если приглядеться, – неродные для обоих языков, то есть заимствования. Злосчастная пара *туника/tunic* как раз такого рода: и русское, и английское слово заимствованы из латинского *tunica*. Но русское слово до недавнего времени функционировало главным образом как историзм – обозначение нижней рубашки древних греков и римлян, а английское издавна употребляется и применительно к разнообразным видам современной одежды, как мужской, так и женской. Как возникло такое различие?

Вспомним, что латынь в Западной Европе имеет долгую традицию в качестве письменного языка (об этом упоминалось в главе 5). В монастырях, например, не только молились на латыни,

но и вели на этом языке хозяйственную документацию, писали письма и мемуары. Хотя реалии средневековой Европы несколько отличались от античных, писцы, недолго думая, приспосабливали латинскую лексику к современности. Так, францисканец брат Лев записывает рассказ основателя своего ордена, св. Франциска Ассизского, “Об истинной и совершенной радости” – воспоминание о том, как Франциск возвращался зимой пешком из Перуджи: “…и зима слякотная и до того холодная, что на рубашке (*ad extremitates tunicae*) намерзают сосульки и бьют по голеням”[83]. Всем, кто представляет себе древнеримский мужской костюм (хотя бы по мультикам про Астерикса и Обеликса), известно, что туника римлян до голеней не доходила – она была не выше колена. Очевидно, что Франциск имеет в виду подрясник, но Лев, передавая рассказ на письменной латыни, называет его *tunica*.

В английский слово *tunic* попало через посредство старофранцузского, в эпоху нормандского завоевания. В современном французском написание слова *tunique* не изменилось со времен Средневековья, и оно все еще означает и одежду духовенства, и просто рубашку, надеваемую через голову. В английском же значения этого слова расширились еще больше – от военного мундира до фасона короткого женского платья.

Однако в русской культуре традиции латинской письменности исторически не было (если не считать использования латыни в медицине и науке в XVIII–XIX вв.). Такое слово, как *туника*, могло попасть в русский язык только одним способом – при переводе памятников античной литературы на русский язык. Оно никак не применялось для описания современных реалий и сразу очутилось в роли историзма.

Подобный же казус произошел с английским *insult*, которое означает вовсе не “инсульт”, а “оскорбление”. Тем не менее оно родной брат нашему слову *инсульт*. Оба происходят от латинского *insultatio* “наскок, нападение”, которое, в свою очередь, образовано от глагола *insultare* “наскакивать, набрасываться”. Уже для древних римлян это слово имело также значение “словесного выпада, насмешки” (ср. русское *нападки* и более современное *наезд*). Отсюда уже легко выводится английское значение “оскорбление”. И в этом случае мы имеем дело со старофранцузским посредничеством: вместе с нормандской аристократией в Англию пришла рыцарская культура, неразрывно связанная с кодексом чести, а следовательно, нуждавшаяся в соответствующей лексике.

В свою очередь, русское слово *инсульт* попало к нам от немцев – это усеченная форма старого медицинского термина

*apoplektischer Insult*. В дореволюционной литературе вам, вероятно, встречался дословный перевод этого термина как *апоплексический удар*. По-английски “инсульт” и сейчас просто “удар” – *stroke*. Но в начале XX в. в русском языке стало закрепляться слово *инсульт* – вероятно, милостью ленивых переводчиков. Еще в 1926 г. оно требовало пояснения, перевода на более привычный язык:

> Врач, Георгий Григорьевич Грохотко, – мигом примчался: потискавши тело и что-то проделав над ним, он отрезывал. – Апоплексия? – Инсульт! – Что такое инсульт? – Апоплексия.
>
> *(Андрей Белый, “Москва”, ч. 2)*

Заметно, что Андрею Белому не нравился такой варваризм, однако он успешно прижился в качестве термина. Почему так произошло? Слово *инсульт* обладало целым набором нужных качеств. Оно было короче, чем *апоплексический удар* и даже *апоплексия*; к тому же в разговорной речи чаще говорили просто *удар*, что звучало неоднозначно (с таким же успехом мог подразумеваться удар по голове), тогда как наука предпочитает точную терминологию, а слово *инсульт* в русском языке не было занято другими значениями. Наконец, как уже упоминалось, непонятные иностранные слова часто привлекают “книжностью” и звучат более “научно”. Так переводческая небрежность обратилась в медицинский термин, который закрепился.

Стало быть, в английском языке “нападение” сменило оттенок значения с физического на моральный, а в немецком метафора агрессии развилась в сторону ее трактовки как “нападения” болезни на человека, она-то и попала в русский. Но все эти слова восходят к одной и той же латинской основе и являются заимствованиями, а без знания истории вопроса сложно понять, что общего между поражением сосудов головного мозга (в русском языке) и оскорблением (в английском).

Медицине особенно “везет”: такая же история произошла со словом *ангина*. Знатоки английского в курсе, что *angina* в этом языке обозначает вовсе не больное горло, а стенокардию. На самом деле в английских словарях можно встретить и описание *ангины* в нашем понимании[84], но “по умолчанию” в англоязычных текстах *angina* все же обычно подразумевает стенокардию, тогда как русскому языку, по крайней мере современному, это значение неизвестно. В XIX в. Национальный корпус русского языка дает единственный пример употребления слова *ангина* для сердечно-сосудистого заболевания – в письме Н. С. Лескова Л. Н. Толстому. Однако Лесков был известным

англоманом и, скорее всего, у него это англицизм. С начала XX в. слово *ангина* становится общеупотребительным и у всех авторов имеет привычное нам значение – инфекционного заболевания горла, за единственным исключением все того же Андрея Белого, который говорит о “грудной ангине” в “Начале века” (1930). Научно-популярных и медицинских текстов XIX – начала XX в., где русское слово *ангина* употреблялось бы в “английском” значении, мне на данный момент обнаружить не удалось. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона знает оба варианта, но настаивает, что “английский” – неправильный:

> **Ангина** (жаба) – под этим названием древняя и народная медицина разумеют все болезненные состояния, при которых появляется затруднение глотания, затруднение речи и припадки удушья в зависимости от воспалительного состояния зева и бронх. Главнейшие из них следующие: воспаление гортани (angina laryngea), воспаление трахеи (angina trachealis), воспаление неба (angina faucium), миндалевидных желез (angina tonsillaris), язычка (angina uvularis) и т. д. ‹…› Грудная жаба (angina pectoris) имеет неправильное название, так как припадки этого заболевания находятся в зависимости от какого-либо страдания сердца (см. Грудная жаба). Главнейшие симптомы ангины суть: сухость и царапанье в горле, болезненность при глотании или полная невозможность глотать, охриплость, кашель, свистящий вдох и выдох, припадки удушья, часто появляющиеся по ночам и сопровождающиеся синевой лица, конечностей и т. д.[85]

Итак, мы видим описания всяческих видов “ангины”, включая не только заболевания горла, но и “грудную жабу” (это и есть устаревшее название стенокардии). В чем же секрет? А в том, что по-латыни *angina* – “удушье”. Удушье может быть и из-за отека горла, и из-за сердечной недостаточности. Средневековые медики не разбирались в причинах болезней и именовали их по симптомам. Но в начале XX в. разная природа стенокардии и воспаления горла была уже очевидна. В английском языке слово *angina* осталось главным образом за стенокардией – болезнь горла там назовут, скорее, тонзиллитом, *tonsillitis* (в России это слово тоже употребляется, но как профессиональный термин – в нейтральной речи никто не скажет “у меня тонзиллит”). У нас же обозначение *ангина*, проникшее в язык поздно, лишь в конце XIX в., решили закрепить за воспалением миндалин, чтобы не путаться.

Огромное количество пар “ложных друзей” существует между английским и французским[86], в которых эти пары тоже, как правило, заимствованы из латыни. Таково, например, слово *concurrence*. По-французски это наша *конкуренция*, а вот в английском слово приняло прямо противоположное значение – “согласие”. Как такое возможно? И снова на помощь приходит история церковной латыни. В латинском языке *concurrens* дословно означает “бегущий вместе”. Как вы понимаете, бежать вместе можно и на соревнованиях (кстати, по-английски *competition* значит и “соревнование”, и “конкуренция”), и в дружеской компании – цель-то в слове не уточняется. В античной латыни у глагола *concurrere* был широкий спектр значений – от “сбегаться в одно место” до “сталкиваться, сражаться”. Так вот, католическая церковь называла словом *concurrentia* (отсюда французское *concurrence*) совпадение церковных праздников, которые по замыслу совпадать были не должны, но в силу подвижности церковного календаря такое иногда все-таки происходило[87]. Праздники оказывались “конкурирующими” – они требовали разной обрядности, и духовенство оказывалось перед нелегким выбором, какой же из них главнее.

Откуда мы знаем, что французское слово *concurrence* – именно латинское заимствование, а не исконно французское, не восходит к тем временам, когда французский отделился от латыни? Ответ достаточно прост: в этом слове сохранилась латинская форма корня *cur-* “бег”. В исконно французских по происхождению словах он имеет вид *cour-*.

В английском же осталось лишь общее значение “совпадение”, которое затем превратилось в “согласие”. Впрочем, следы старого значения сохранились в правовой терминологии, где тоже когда-то латынь была основным письменным языком: *concurrent jurisdictions* по-английски означает именно “конкурирующие юрисдикции”, то есть перекрывающиеся. В остальных областях такое употребление по большей части забыто, и, если вам в научном английском тексте попадется выражение *concurrent views*, помните, что это не “конкурирующие”, а совсем наоборот – “совпадающие взгляды”.

Еще один пример – пара *fastidieux/fastidious*. Первое слово французское – “скучный, утомительный, неудобный”. Второе – английское – “привередливый”. Оба происходят из латинского *fastidiosus*, которое, как это часто случалось у римлян, имело два взаимно противоположных значения: “брезгливый” и “вызывающий брезгливость”. С английским словом все понятно, а вот как “брезгливый” стал “скучным”? А просто слово *fastidiosus* состоит из двух корней – *fastus* (“высокомерие”, “пренебрежение”)

и *taedium* (“отвращение”, но также и “скука”). В английском языке актуализировался первый корень, во французском – второй, причем “скука” вышла на первый план.

Путаница случается и в образовательной терминологии: французское *baccalauréat* означает всего-навсего аттестат о полном среднем образовании, и англичанин удивится, услышав, что французский школьник сдает экзамены на “бакалавриат” – для британского студента *baccalaureate* подразумевает три-четыре года университетской программы. (Уточним, что речь идет о языке жителей Франции – у франко-канадцев слово *baccalauréat* значит то же, что его аналог в английском.) То и другое восходит к средневековому латинскому *baccalaureatus*, второй по статусу ученой степени средневековых университетов после *licentiatus*: степень лиценциата присваивали через два года обучения, и она была нижней планкой образования, необходимой для того, чтобы получить разрешение (то есть *лицензию*) заниматься медициной и правом. Для получения степени бакалавра требовалось уже четыре года. Как мы видим, английская система образования консервативнее – она осталась ближе к средневековой, чем французская.

Пожалуй, одна из самых знаменитых и скандальных пар ложных друзей переводчика – англійско-испанская пара *embarrassed/embarazada*. По слухам, американские туристки частенько попадают в конфузные ситуации при поездках по странам Латинской Америки, пытаясь сказать, что они смущены (*embarrassed*). Поскольку испанский когнат *embarazada* говорит не о смущении, а о беременности. И в испанском, и в английском это заимствования с долгой историей. Оба восходят к португальскому *embaraçar* – “связывать веревкой”, а в переносном смысле – “позорить”. Нетрудно догадаться, что это слово отражает память о средневековом обычае унижать пленных или осужденных, выводя их на площадь с веревкой на шее. Но и это не начало истории слова. Португальский глагол образован от существительного *baraço* “веревка”, которое, в свою очередь, заимствовано из арабского *maraso* с тем же значением, чья родословная прослеживается вплоть до аккадского языка – того, на котором говорили в Древнем Междуречье еще пять тысячелетий назад. Кстати, мы говорим *скованный* о смущенном человеке, что по смыслу близко к слову *связанный*. Что же касается беременности, то об этом факте физиологии в европейской культуре еще недавно было стыдно и неловко говорить, особенно если она внебрачная. Так слово, образованное от корня, известного еще древним вавилонянам, в настоящее время служит источником *смущения* (а как же!) при контактах

представителей англоязычных и испаноязычных народов.

В завершение рассказа о “ложных друзьях переводчика” и о том, какие ловушки они могут расставлять иностранцу, вернемся на русскую почву и вспомним стихотворение, которое, полагаю, знакомо многим читателям с детства, – “Балладу о королевском бутерброде” А. Милна в переводе С. Я. Маршака. Король заказывает к завтраку масло, и вот к чему это приводит:

**Придворная молочница**

Пошла к своей корове
И говорит корове,
Лежащей на полу:
– Велели их величество
Известное количество
Отборнейшего масла
Доставить к их столу!

**Ленивая корова**

Ответила спросонья:
– Скажите их величествам,
Что нынче очень многие
Двуногие-безрогие

Предпочитают мармелад,
А также пастилу!

**Придворная молочница**

Сказала: – Вы подумайте! –
И тут же королеве
Представила доклад:
– Сто раз прошу прощения
За это предложение.
Но если вы намажете
На тонкий ломтик хлеба
Фруктовый мармелад,
Король, его величество,
Наверно, будет рад!

**Тотчас же королева**

Пошла к его величеству
И, будто между прочим,
Сказала невпопад:
– Ах, да, мой друг, по поводу
Обещанного масла…
Хотите ли попробовать

На завтрак мармелад?

**Король ответил:**

– Глупости! –
Король сказал:
– О боже мой! –
Король вздохнул: – О господи! –
И снова лег в кровать.
– Еще никто, – сказал он, –
Никто меня на свете
Не называл капризным…
Просил я только масла
На завтрак мне подать!

Казалось бы, ситуация ясна: королю пытаются навязать нерациональный изыск в виде мармелада на завтрак, но король проявляет здравый смысл и демократизм в привычках, настаивая на обыкновенном бутерброде с маслом… Все так, только в оригинале у Милна стоит слово *marmalade* – классический ложный друг переводчика, ибо значит оно вовсе не “мармелад”, а “повидло”, преимущественно из апельсинов и других цитрусовых. Которое среднестатистический англичанин мажет на бутерброд по утрам.

Никакой “а также пастилы” в оригинале нет, ее придумал Маршак, неверно истолковавший слово *marmalade*. А молочница в оригинале не предлагает “фруктовый мармелад” “на тонком ломтике хлеба”, а высказывается куда более лаконично:

Excuse me, your majesty, for taking of the Liberty,
But marmalade is tasty, if it’s very thickly spread.
Простите мне, ваше величество, такую дерзость,
Но повидло вкусное, если его погуще намазать.

К королю вовсе не пытаются подольститься, оправдываясь за отсутствие масла, – его нагло унижают, предлагая обойтись повидлом без масла. С учетом того, что остальной текст переведен у Маршака по большей части верно, этот пример иллюстрирует, до какой степени может изменить смысл ошибочное понимание одного слова.

И английское слово *marmalade*, и русское *мармелад* заимствованы из французского *marmelade* “варенье” (изначально –

“айвовое варенье”, от испанского *marmelo* “айва”). Но как же варенье или повидло превратилось в относительно твердый тип сладости? Ясности нет. Уже самые ранние упоминания *мармелада* в русской литературе – с середины XIX в. – явно подразумевают твердый продукт, а не повидло и не варенье: у Достоевского в “Скверном анекдоте” (1862) говорится о “тарелочках с яблоками, с конфетами, с пастилой, с мармеладом, с грецкими орехами и проч.”; у других авторов *мармелад* тоже регулярно соседствует с *пастилой, пряниками* и другими твердыми сладостями; его покупают коробками (например, у А. М. Горького в рассказе “Трое”, 1901). В. П. Катаев в повести “Белеет парус одинокий” (1936), где действие происходит в 1905 г., описывает “мармеладки” фабрики братьев Крахмальниковых, которыми украшали поминальную кутью, – очевидно, что это могли быть только куски твердого продукта. Похожее значение есть у португальского слова *marmelada*, которое издавна означает сладость из айвы, близкую к нашему мармеладу. Но португальский – как будто слишком экзотический язык для России, и пути, которыми это слово могло попасть в русский, загадочны.

Так или иначе, данные Национального корпуса говорят о том, что для Маршака, родившегося в 1887 г., наше современное значение слова *мармелад* было привычным и основным. Более того, уже в XIX в. *мармелад* приобретает в России коннотации мещанского гламура, деликатеса для убогих в материальном и духовном смысле людей:

> Между ними наиболее пустили корни здесь два промышленника, называемые “маркитантами”: один ходит по всем комнатам с плетенкой, наполненной булками, другой – со всякой дрянью, вроде пряников, рожков, мармелада и яблок, предлагая, по преимуществу женщинам, разные свои “фруктовые удовольствия”.
>
> *(В. В. Крестовский, “Петербургские трущобы”, ч. 5, 1867)*

> Лакей Пахом расставляет на переддиванном столе десерт: пастилу, мармелад, изюм, моченые яблоки и т. п.
>
> *(М. Е. Салтыков-Щедрин, “Пошехонская старина. Житие Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина”, 1887–1889)*

> Заполучив от родных на праздники несколько

рублишек, она забывала и Васькины разорванные сапожонки, и необходимость обеда на завтра, а шла в Гостиный двор и покупала себе шляпку с птицей, а потом в Милютиных лавках забирала белевской пастилы, вишневого варенья, винных ягод, абрикосовую соломку, мармелад, клюкву в сахаре и вяземских пряников.

*(Вас. И. Немирович-Данченко,*

*“Сластеновские миллионы”, 1893)*

– В суде иногда очень любопытно, – кислым голосом заметила Фелицата Грызлова и, взяв коробку с мармеладом, стала ковырять в ней щипчиками.

*(А. М. Горький, “Трое”, 1901)*

У А. П. Чехова мармелад неоднократно становится символом кульминации пошлости. В рассказе “Учитель словесности” (1894) жена главного героя сообщает: “Мармеладу наелась”, – как раз в тот момент, когда он осмысляет свою жизнь и понимает никчемность и убожество своего брака. В пьесе “Безотцовщина” (1878) мармелад и вовсе возникает на фоне непристойности:

ПЛАТОНОВ. ‹…› Где это ты так шикарно остригся? Хороша прическа! Стоит целковый?

ТРИЛЕЦКИЙ. Меня не цирюльник чешет… У меня на это дамы есть, а дамам я не за прическу плачу целковые… (*Ест мармелад.*)

Сложно сказать, рассчитывал ли юный Чехов, что мармелад, поедаемый актером, будет виден из зрительного зала (пьеса не была обнародована им при жизни, и о ее существовании узнали только спустя почти два десятилетия после смерти писателя). Но смысловое предназначение ремарки о мармеладе прозрачно.

Для Маршака, таким образом, *мармелад* – это не только другой вид продукта, чем английский *marmalade*, он еще и нагружен принципиально иными культурными коннотациями. Английский *marmalade* – нейтральный, респектабельный элемент завтрака добропорядочного среднего класса. Русский *мармелад* для интеллигенции рубежа XIX–XX вв. – вульгарная претензия на изысканное лакомство, ассоциирующаяся либо с социальными низами, либо с провинциальной ограниченностью ума и вкусов, и уж точно не повседневная еда для завтрака. У Милна король по-детски возмущен попыткой его надуть: “Никто не может назвать

меня капризным (*fussy*)!" Он просто доказывает, что нет ничего нескромного в желании поесть на завтрак масла. У Маршака "капризность" обретает совершенно иной смысл: "капризные" – те, кто ест с хлебом мармелад вместо масла, в соответствии с вульгарными представлениями о королевской роскоши; король же, как истинный аристократ, отличается простотой и разумностью вкусов. Так история, рассказанная автором "Винни-Пуха", в русском переводе непреднамеренно становится более сложной и "взрослой", чем она была в оригинале. И произошло это из-за столкновения двух похожих слов, которые и в русском, и в английском являются заимствованиями, но каждое из них прожило совершенно самостоятельную жизнь.

# 8. “Скажи: Которая Татьяна?” Немного об именах собственных

При обсуждении проблемы заимствований невозможно обойти вниманием имена собственные. То, что в ономастике многих народов заимствования обильны и играют важную культурную роль, легко заметить невооруженным глазом: например, в русском языке почти не осталось исконных восточнославянских имен – разве только *Владимир* да сравнительно редкие *Святослав* и *Всеволод*. “Типичные” английские Джоны и французские Жаны тоже обязаны своими именам Библии, а не национальной истории. Но имена ведут себя не совсем так, как все остальные заимствования, – у них особая природа.

Начнем с того, что имена в принципе не обозначают никаких реалий, а служат только для идентификации личности. По имени *John* в современных США невозможно определить, кто его носитель – белый, индеец или чернокожий. Китайцем Джон, конечно, окажется с меньшей долей вероятности, но не с нулевой – живущая в США китайская семья в принципе может назвать ребенка Джоном, и он не перестанет от этого быть китайцем. Человек может сменить имя при эмиграции, как это делают, например, русские евреи в Израиле, меняя традиционные для России имена на ивритские. Он может взять псевдоним, если он писатель: говоря о Горьком, любой, кто знаком с историей русской литературы, понимает, что *Максим* и *Алексей Максимович* в этом случае означает одного и того же человека. Обычная практика – смена имени при переходе в другое вероисповедание, причем не только в христианство: например, знаменитый американский боксер Мохаммед Али (*Muhammad Ali*) до перехода в ислам носил имя Кассиус Марселлус Клей (*Cassius Marcellus Clay*). Наконец, имя можно сменить просто потому, что оно не нравится: моя одноклассница Алена при получении паспорта, который в то время выдавали в 16 лет, стала Инной, и что любопытно, весь класс согласился, что это имя ей подходит больше.

Приходя вместе с Ленским в гости к Лариным, Онегин интересуется: “Скажи: которая Татьяна?” Без подсказки он бы не догадался, кто Татьяна, а кто Ольга. Мы можем на основании своего предшествующего опыта определить, кто среди присутствующих *женщины*, нередко даже – кто *17-летняя девушка* или *одна из двух сестер*, но не можем утверждать, кто из них

*Татьяна*, пока нам этого не скажут. Причина в том, что имя собственное относится к конкретному человеку, и хотя Татьян могут быть тысячи, они не составляют никакого класса *татьян*. Нет в природе свойства “татьянности”, общего для всех Татьян[88]. Если в одной компании оказываются тезки, это, как правило, приводит к попыткам избежать путаницы – и таких людей все же стараются называть как-то по-разному. В той же школе со мной в одном классе оказались две Светланы Степановы. В результате все учителя… называли их на деревенский манер по отчеству: *Павловна* и *Александровна*, что звучало довольно забавно.

Поэтому и при заимствовании имена ведут себя немного иначе, чем все другие слова, – они заимствуются не для того, чтобы выразить какие-то новые смыслы. Если имя и несет какой-то “смысл”, то только с точки зрения принадлежности человека к определенному сообществу: языковому или конфессиональному. Человек по имени *Хуан* (*Juan*) почти наверняка из тех, кто говорит по-испански; два столетия назад он к тому же с практически стопроцентной вероятностью оказался бы католиком, хотя в наше время может быть и атеистом. А вот принадлежность Хуана к мусульманам или индуистам сомнительна. Впрочем, как уже говорилось, эти правила не универсальны – традиции именования в современную эпоху могут размываться под влиянием моды. И вряд ли Хуана назвали Хуаном *для* того, чтобы отличать его от англоязычных Джонов или русскоязычных Иванов – об этом родители Хуана совершенно точно не думали. Существует множество племен, до недавнего времени живших в сравнительной изоляции, – для них потребность отличать себя от других сообществ была явно не на первом месте, и все же у каждого есть своя традиция имянаречения. Неизвестно ни одного примера общества, которое обходилось бы вовсе без имен, если, конечно, не считать таковым концлагерь с номерами.

Противоречия разрешаются, если предположить, что имя необходимо для идентификации личности *внутри* собственной родословной (родственники же с большой долей вероятности принадлежат к одной этнической и конфессиональной группе). Наши современные сочетания “имя + фамилия” (а у русских, болгар и корейцев имеются также и отчества) отражают именно родственные связи. В древности, когда люди жили малыми группами, для идентификации родичей хватало одного имени, но при разрастании сообществ все чаще возникали проблемы. Людей, которых надо различать – как современников, так и предков, – становилось слишком много. Древние греки пробовали добавлять к имени информацию о месте происхождения, чтобы отличать, скажем, *Диогена Лаэртского* от *Диогена Синопского*. Более сложную систему развили римляне, у которых имена были тройными: первое имя (преномен) было собственно именем, затем следовало родовое имя (номен), а затем прозвище (когномен). Например, *Гай Юлий Цезарь* (*Gaius Julius Caesarus*) означает “Гай из рода Юлиев по прозвищу Цезарь”. Отметим, что “прозвища” у римлян необязательно были семантически прозрачны – в случае с “Цезарем” сами римляне расходились во мнениях, что означает это слово и какова его этимология. Дочерей называли по родовому имени отца: *Юлия* была дочерью мужчины по имени *Юлий*. Система личных имен у римлян была крайне консервативна и ограничивалась очень узким набором. Но

даже и в римскую систему имен проникали заимствования. Например, римские рабы часто носили греческие имена (вначале потому, что они могли быть реальными этническими греками, позже греческие имена им мог давать хозяин). Став вольноотпущенником, раб вместе с римским гражданством получал преномен и номен бывшего хозяина, а греческое имя становилось когноменом[89].

Итак, в принципе имя может быть заимствовано, если в сообщество приходит представитель другой этнической группы и достаточно долго проживает там. Но архаические сообщества нередко сопротивляются такой инновации и требуют, чтобы новый член сменил свое имя и стал именоваться по традиции. В наши дни ритуал “приема в племя” с получением туземного имени даже стал популярным туристическим аттракционом. Не столь весело, вероятно, чувствовали себя иностранцы в Московской Руси XVI–XVII вв.: московские писари запросто переименовывали *Джона* в *Ивана* (и хорошо еще, если не в *Ивашку*, как требовал протокол официальных обращений в Московском царстве), *Джерома* – в *Еремея, Вильяма* – в *Ульяна, Якоба* – в *Якушку*. Под пером особо креативных чиновников даже немец *Готфрид* становился *Богданом* – очевидно, составители документов не упускали случая похвалиться знанием немецкого, демонстрируя, что понимают этимологию имени с основой на *Gott-*[90]. Хотя в наши дни на любом курсе теории перевода вам скажут, что имена переводить не принято. Любопытное исключение из этого правила составляют индейские имена: *Кожаный Чулок* Фенимора Купера, конечно же, в английском оригинале *Leatherstocking*, а, например, в итальянском переводе – *Calze di Cuoio*.

Однако имена *Иван, Ульян, Еремей* ничуть не более русские, чем *Джон, Уильям* или *Джером*. Они заимствованы, просто это произошло давно и они стали привычными в русском быту. Как же все-таки происходит заимствование имен, учитывая, что сообщества обычно сопротивляются внедрению чужеродной ономастики? Факторов, способствующих проникновению заимствованных имен в обиход, множество: религия, политика, культура и другие. Наиболее интересны для нас два пути такого межнационального обмена.

# 1. Древнейший и самый очевидный путь – смена вероисповедания

Если, допустим, какое-то сообщество официально принимает одну из авраамических религий (христианство, иудаизм или ислам), это часто ведет к смене имен с “языческих” на “христианские”, “мусульманские” и т. д. Часто, но не всегда. У греков, например, никакого разграничения между “языческими” и “христианскими” именами не было и нет: так, имя *Филипп* (*Philippos*) ныне считается православным, поскольку так звали апостола из Нового Завета, но то же имя носил отец Александра Македонского задолго до христианской эры. Да и само имя *Александр* и православными, и католиками, и протестантами ныне ощущается как вполне христианское.

Однако, когда христианство попадает в регионы, где с ним еще не были знакомы раньше, новообращенным начинают давать имена святых, уже канонизированных соответствующими церквями ранее. А поскольку местные святые пока еще не появились, имена даются в честь иностранных святых – например, Георгия Победоносца, который оказался одним из самых популярных покровителей во всем мире. Вряд ли, к примеру, Джордж Клуни догадывается, что он тезка Юрия Долгорукого и что они названы в честь одного и того же святого. Имя *Юрий* – исторически не что иное, как вариант произношения имени *Георгий* (сокращение из древнерусского *Гюргий*).

Отношения между языческим и крестильным набором имен в разных странах складывались по-разному. На Руси языческие имена бытовали параллельно с крестильными вплоть до петровской эпохи, когда они были запрещены. Многие из наших предков не использовали свои христианские имена ни в быту, ни даже в документах. Знаменитые новгородские берестяные грамоты пестрят именами наподобие *Гостята, Доманег, Миронег, Путила, Нежка, Жирята, Твердислав* и т. д.[91] Сами русские князья долгое время предпочитали официально называться языческими именами – например, всем известный князь Владимир, креститель Руси, носил христианское имя Василий, но сейчас об этом знают только специалисты по древнерусской истории. Ведь и в летописях, и на монетах собственной чеканки он именуется Владимиром[92]. В этом смысле Юрий Долгорукий – скорее исключение для домонгольской эпохи.

Подавляющее большинство христианских имен в России – греческого либо древнееврейского (то есть библейского)

происхождения. К первым относятся *Александр(а), Алексей, Денис* (упрощенное из *Дионис*), *Петр, Евгений, Степан, Филипп, Елена, Ксения*. Ко вторым – *Мария, Иван* (упрощенное из *Иоанн*), *Яков, Захар, Семен*, а среди немодных в наши дни – *Елисей* и *Еремей* (из *Иеремия* – по имени этого пророка озаглавлена одна из ветхозаветных книг). Впрочем, элементарные сведения о происхождении русских имен можно найти на сотнях популярных сайтов, где, как правило, объясняется и их "значение". Как теперь нам с вами понятно, никакого "значения" у имен нет – у них есть только этимология, связь их происхождения с определенными словами. Например, *Ксения* происходит от греческого *xenía* "гостеприимство". Но наши предки вовсе не думали об этимологии греческих и еврейских имен, когда крестили ими детей, – даже среди священников почти никто не владел древними языками. Имя полагалось брать из церковного календаря по дню рождения ребенка, а если получившийся вариант не нравился (вспомним, как мучились родители гоголевского Акакия Акакиевича!), то в миру человека просто звали как-то по-другому. Вначале такие мирские имена были языческими, а в более позднюю эпоху все чаще выбирались из христианского же репертуара[93].

Лишь немногие имена, признанные РПЦ, другого происхождения – исконное русское имя *Владимир* (разумеется, в честь крестителя Руси), болгарское *Борис* и скандинавское *Глеб* (из *Guðleifr*). Пример родных братьев, князей *Бориса и Глеба* ярко показывает, что уже в XI в. эти имена были достаточно освоены на Руси и их иностранное происхождение не ощущалось. Но для того, чтобы они вошли в христианский календарь, понадобилось трагическое событие – мученическая гибель обоих молодых людей. Пока князья были живы, они носили христианские имена *Роман* и *Давид*.

Столь жесткое разграничение "христианских" и "нехристианских" имен свойственно только русской традиции. У других славянских народов оно отсутствует, потому что нет обязательной привязки имянаречения к дню памяти святого, когда родился ребенок. Южные и западные славяне спокойно пользуются дохристианскими именами, что иногда приводит к серьезным конфликтам культур, весьма досадным:

> Оказывается, в России отказываются исповедовать и причащать болгар, носящих болгарские имена, не принятые в Русской Церкви! Причем такая ситуация наблюдается во многих городах России, но особенно в Москве. Как же так?! Русские отказываются признавать

нас православными, хотя мы приняли православие еще в I тысячелетии, когда уважаемый Старший Брат только приходил к мысли о христианстве! В Болгарии есть огромная русская диаспора, но никто не заставляет русских перекрещиваться в Цветаны и Цветанки!

Так почему же в одном известном московском монастыре приемщицы записок указывают нашей 82-летней родственнице, что ее имя Виктория должно звучать как Ника?! А уж за Веселину, Розу и Бойко молиться вообще не пожелали – якобы это все имена неправославные, поскольку их нет в русских святцах! Еще и осмеяли нас при всем честном народе!

В статье диакона Федора Котрелева 2008 г., где приводится это письмо, подробно рассматриваются отличия ономастических традиций у других православных народов[94]. Они часто не совпадают с русской, и многие народы наряду с заимствованными греческими и еврейскими именами продолжают использовать свои традиционные дохристианские имена.

Еще сложнее обстоит дело с исконной и заимствованной ономастикой в Западной Европе. Во-первых, там языческие имена никогда не подпадали под формальный запрет и не рассматривались церковью как “ненастоящие”[95]. Еще живший в IV в. переводчик Библии на готский язык остался в истории как Ульфила – “волчишка”. А ведь он был ни много ни мало епископом. По-видимому, для готов даже духовный сан не был поводом сменить имя. У немцев тоже с глубокой старины совершенно на равных сосуществуют дохристианские имена типа *Wolfgang, Siegfried, Wilhelm* и чисто христианские типа *Johann, Jacob, Martha*. В далеком XI в. древнерусские церковные писатели упрекали “латинян”, то есть католиков, за то, что они при крещении “имени же не нарицают святого, но како его прозовут родители своя”, так и называют ребенка[96].

Это верно лишь отчасти, поскольку в Западной Европе “языческие” по форме имена часто являются именами ранних местных святых, которых, как наших Бориса и Глеба, почитают под их светскими именами дохристианского происхождения. Например, шведские и норвежские Олафы вот уже тысячу лет получают имена в честь короля Олафа Святого, современника Ярослава Мудрого (древнеисландский рассказ “Прядь об Эймунде” даже приписывает Олафу роман с супругой Ярослава). Английские Освальды названы в честь англосаксонского первомученика короля Освальда, жившего в VII в. и погибшего в бою с язычниками. Наверное, вы сейчас вспомнили Освальда

Шпенглера и других известных немцев с этим именем? Да, в наши дни имя Освальд гораздо популярнее в немецкоязычной среде, чем в англоязычной. Но оно заимствовано у англичан, потому что форма с начальным О – англосаксонская. Если бы оно было исконно немецким, оно имело бы вид не *Oswald*, а *Answald*.

Имя Людвиг (*Ludwig*), которое кажется эталонно немецким, тоже заимствовано – из языка древних франков. Это онемеченный вариант имени Хлодвиг (*Hlodowig*). Из школьной истории мы помним, что так звали первого христианского короля франков, жившего в V в. Франкский язык не был родственным французскому – это был германский язык, от которого впоследствии произошел нидерландский. На территории бывшей римской Галлии франки утратили свой исконный язык и заговорили на диалекте народной латыни, который потом станет французским языком. А вот германское имя короля-крестителя осталось – на латыни оно звучало как *Chlodovechus* и стало популярнейшим династическим именем французских королей. Позже его записывали как *Ludovicus*, оттого и в нашей историографии французские короли стали Людовиками, хотя на современном французском это имя звучит как *Louis*. Один из Людовиков, под номером IX, был причислен к лику святых, что только прибавило популярности имени. Имя присвоили многие христианские народы Западной Европы – у итальянцев, например, оно звучит как *Lodovico/Ludovico*. А значит, и поэт Лудовико Ариосто (1474–1533), автор “Неистового Роланда”, и композитор Людвиг ван Бетховен (1770–1827) и все французские короли Людовики – тезки!

Такой интенсивный обмен именами как между родственными, так и между неродственными языками – характерная особенность западноевропейского Средневековья. Как только представитель какого-либо народа причислялся к католическим святым, его имя начинало восприниматься как часть общей христианской традиции и свободно путешествовало между странами и культурами (единственные ограничения, которые могли возникать, – специфика местных семейных и династических традиций). Средневековой Европе не было известно современное представление о национальной идентичности, и идея выбирать имя ради того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к этнической группе, обычная в наши дни, показалась бы средневековому человеку крайне странной.

В эпоху Реформации нарождающиеся протестантские церкви были настроены резко против культа святых и стремились его отменить. Это одна из причин, по которой протестанты ввели в активное употребление ветхозаветные еврейские имена – Авраам

(Абрахам), Исаак, Иаков (Якоб, Джеймс), Эсфирь (Эстер), Сара. В католическом Средневековье многие из этих имен воспринимались как непрестижные или даже нехристианские. Встретив на страницах школьного учебника *Исаака Ньютона* и *Авраама Линкольна*, мало кто задумывается о том, что эти имена – такая же неотъемлемая примета Нового времени, как закон всемирного тяготения или президентская республика.

Как и другие заимствования, христианские имена могли подвергаться своеобразной народной этимологизации. Например, для исландцев, крестившихся поздно по европейским меркам – в 1000 году, – была характерна традиция отождествлять заимствованные христианские имена с традиционными языческими: дохристианское имя Стефнир переосмыслялось как христианское Стефан, Туми – как уменьшительное от Томас (то есть Фома), Эйстейн становился Августином, а Торд (*Þórðr*, что в Средневековье могло записываться как *Thordur*) – Теодором (*Theodor*[97]).

В более редких случаях встречается калькирование имен: греч. *Theódōros* – лат. *Deodatus* (итал. *Deodato*) – франц. *Dieudonné* – укр. *Богдан*.

У тюркоязычных народов распространение пришлых имен связано с исламом, и заимствовались имена арабского происхождения. Поскольку в исламе нет специального календаря святых, то нет и обязательности в имянаречении, использование арабских религиозных имен – чисто символический знак благочестия, подобно использованию ветхозаветных имен у протестантов. По этой причине в тюркских сообществах все еще сохраняется обширный фонд традиционных доисламских имен – Батыр (“богатырь”), А(р)слан (“лев”, снова вспомним роман Клайва Льюиса), Темир/Тимур (“железо”), Айгуль (“лунный цветок”), Юлдуз (“звезда”). Несложно догадаться, какие из них мужские, а какие женские. В исконно тюркской традиции фонд имен открытый, и именем может служить любое понравившееся слово или словосочетание – или, наоборот, ругательство, если ребенка хотят защитить от сглаза[98]. Но при этом наряду с традиционными тюркскими именами бытуют и заимствованные арабские имена. Они чаще всего двух типов. Во-первых, это имена коранических персонажей, частично совпадающие с ветхозаветными: Мухаммед, Фатима, Мириам (= Мария), Муса (= Моисей), Сулейман (= Соломон), Ильяс (= Илия), Ибрагим (= Авраам) и др. Во-вторых, это различные комбинации с упоминанием Аллаха: Абдулла (букв. “раб Божий”), Хабибулла (букв. “любимый Богом”), Файзулла (“щедрость Бога”) и т. д. Такие имена в лингвистике называются теофорными, то есть

“богоносными”. Иногда такие сложносоставные имена сокращаются и переосмысляются, например: Абдул-Рашид/ Абдуррашид (букв. “слуга праведного”) = > Рашид (“праведный”, то есть эпитет относится уже не к Богу, а к человеку). Интересно, что эта гибкость в выборе имен, свойственная традиционно мусульманским сообществам тюркских народов, исчезает, когда речь идет о современных христианах, перешедших в ислам, – они неизменно принимают арабские имена независимо от своей исходной этнической принадлежности: в начале этой главы уже упоминался американец Кассиус Марселлус Клей, ставший Мохаммедом Али.

Арабский язык настолько же неродственный тюркским языкам, насколько иврит – индоевропейским, на которых говорит большинство народов Европы, при этом оба относятся к семитской языковой семье. Вот так вышло, что на пространстве от Швеции до Татарстана можно встретить человека с именем семитского происхождения, чьи предки с вероятностью в 99 % вообще никогда не говорили на семитских языках.

## 2. Короли – законодатели мод

В истории нередки случаи, когда иностранное имя поначалу закреплялось в королевской династии, а потом распространялось в народе. Монархи чаще, чем кто-либо, связаны родственными и брачными узами с другими странами, а иногда и сами иностранцы по происхождению. Привычные нам имена Игорь, Ольга, Олег, Глеб вошли в обиход благодаря первым древнерусским князьям, имевшим скандинавские корни: Игорь – это скандинавское *Ingvarr*, Олег – *Helgi*, Ольга – *Helga*, Глеб – *Guðleifr*[99]. В наше время кое-кому кажется, будто признавать факт иностранного происхождения первых князей – непатриотично. Но, как уже говорилось, Средневековье не знало идей крови и почвы, даже национальное самосознание как явление стало формироваться только в эпоху Возрождения. Напротив, в Средневековье престижным считалось как раз иностранное, "заморское" в буквальном смысле слова происхождение основателя династии. Так, древнеанглийская поэма "Беовульф" (не позднее XI в.) упоминает, что Скильд Скевинг, основатель легендарной династии Скильдингов, или, на скандинавский лад, Скьольдунгов, был найденышем – его принесло по морю в лодке. Согласно другой версии, в лодке нашли его предка Скева, который, вероятно, изначально был земледельческим божеством, – его имя на древнеанглийском означало "сноп" (по-английски и сейчас сноп – *sheaf*). История Скева проясняет, почему приход будущего правителя "из-за моря" в Средневековье оценивался положительно: такой пришелец считался посланцем богов, ведь "за морем" в средневековых представлениях лежали иные, потусторонние миры. Даже с развитием мореплавания и распространением христианства это представление не исчезло и бытовало еще много веков, пока не наступила эпоха Великих географических открытий. Потому в "Повести временных лет" славяне и посылают "за море" приглашение варягам княжить.

Игори, Олеги, Ольги и Глебы теперь нам привычны, эти имена вполне обрусели, а вот Рюриков что-то не видно, это имя если и встречается, то как редкий курьез: два наиболее известных Рюрика, у которых это было настоящее имя, а не псевдоним, – лингвист Р. К. Миньяр-Белоручев и орнитолог Р. Л. Беме – родились в 1920-е гг., период самых бурных и эксцентрических экспериментов с именами в истории России. Похоже, и в исторической династии Рюриковичей имя основателя особой популярностью не пользовалось – князей с этим именем очень

мало. Почему судьба этого имени сложилась иначе, чем судьбы остальных русских имен скандинавского происхождения? Вероятно, дело в благозвучии: все-таки сочетание звуков *рюр* не самое удобопроизносимое для носителей русского языка, в котором таких звуковых комбинаций исконно нет.

Подобный процесс – когда заимствованное имя сначала возникает в правящей династии, а потом распространяется среди более широких слоев населения, – происходил и у самих скандинавов. Многие современные шведы носят имя Магнус, и оно воспринимается как типично шведское. Но по происхождению оно латинское, от прилагательного *magnus* “великий”, и у него есть точная дата рождения – 1024 г. В этом году Альфхильда, англосаксонская наложница норвежского короля Олафа, тогда еще не Святого, родила от него ребенка. Будь младенец рожден в законном браке, он получил бы одно из династических имен предков, но внебрачным детям могли давать необычные имена. А малыш к тому же очутился в экстремальной ситуации – возникли опасения, что он не выживет. В Средневековье это означало, что надо срочно крестить. Король в это время спал. Опасаясь королевского гнева, скальд Сигват не стал его будить, решил провести крещение сам и в качестве крестного отца ребенка выбрал ему имя. Видимо, он решил щегольнуть ученостью и вспомнил об императоре Карле Великом – по-латыни *Carolus*

*Magnus*. Вот только знание латыни у королевского скальда оказалось несколько, хм, поверхностным, и он принял слово *Magnus* за второе имя. Так ребенок и стал Магнусом. Король Олаф поначалу был несколько шокирован таким самоуправством, но Сигвату удалось убедить его в правильности своего поступка. Эту историю сохранил для нас Снорри Стурлусон в своем “Круге Земном” – собрании саг о королях, записанном в XIII в.

Много лет спустя внебрачный королевский сын, обязанный своим именем переводческому ляпу, в силу исторических превратностей взошел на престол и стал королем Магнусом Добрым. С этого времени имя Магнус стало чрезвычайно популярным в королевских династиях Норвегии, Дании и Швеции (на самом деле короны и территории этих стран в течение веков многократно то соединялись в разных комбинациях, то разделялись, так что говорить о “Норвегии, Швеции и Дании” до XIX в. можно лишь условно, но не будем утомлять читателя подробностями средневековой геополитики). А впоследствии оно вошло в обиход и у рядового населения.

А вот еще одна замечательная история подобного заимствования имени, тоже в Скандинавии, только в более позднее время. Трудно найти жителя России, который не читал бы в детстве “Малыша и Карлсона” Астрид Линдгрен. А все ли помнят, как на самом деле зовут Малыша? Его полное имя упоминается в книге всего один раз: Сванте Свантесон. Как ни удивительно, это имя, которое русскому слуху кажется типично шведским, на самом деле славянского происхождения. Малыш – тезка нашего Святополка. Только Святополк, давший это имя множеству шведских мальчиков, происходил не из Древней Руси, то есть не из восточных славян, а из Поморья, балтийского региона, где в Средневековье жили западные славяне. В западнославянских языках и в наше время сохраняются носовые звуки. Поэтому имя *Святополк* латиницей записывалось как *Svantepolk*. Сокращенно – *Svante*.

Отцом этого Святополка был Кнут, герцог Ревельский, внебрачный сын датского короля Вальдемара II[100]. Общая закономерность: там, где в родословную затесались незаконнорожденные, туда заимствованные имена проникают гораздо легче. О матери неизвестно почти ничего, кроме того, что она была славянкой. Подпорченная родословная не помешала Святополку-Свантеполку занимать довольно высокое общественное положение и жениться на родственнице шведских королей. Он умер в 1310 г., а имя осталось в шведской традиции и дожило до наших дней. Среди прочих его получили знаменитый химик Сванте Аррениус (1859–1927) и наш любимый герой книги

Астрид Линдгрен. Судя по тому, что и фамилия Малыша – Свантесон, его предки тоже носили это имя.

Обратим внимание, что ни Магнус Добрый, ни Сванте Кнутссон не были канонизированы как святые и не имели особых заслуг перед церковью, а наши князья Игорь и Олег даже не были христианами. Их имена получили популярность потому, что стали восприниматься как престижные, связанные сначала с родословной монаршего дома, а в новейшее время – с национальной историей. Это чисто светский путь заимствования имен.

С некоторых пор необязательно быть в родстве с княжеской или королевской династией, чтобы поучаствовать в большой политике, которая отражается на заимствованиях имен. Французы в эпоху Великой французской революции опробовали использование древнеримских имен. Такие экстремальные варианты, как Гракх Бабеф (*Gracchus Babeuf*, 1760–1797, настоящее имя Франсуа-Ноэль Бабеф), конечно, не прижились. А вот имя Камиль (*Camille*, из римского *Camillus*) пришлось как нельзя кстати и теперь воспринимается как заурядное французское имя. К примеру, художник Камиль Коро, предтеча импрессионизма, родился как раз в годы Первой республики – в 1796 г., так что его имя тогда было знаком родительских симпатий к новой власти. Сейчас же революционные ассоциации стерлись, и оно звучит совершенно нейтрально.

В Советском Союзе XX в. римские имена особого энтузиазма не вызывали – более-менее обиходным стало только имя *Спартак* (не знаю, надо ли напоминать современному читателю, что так звали руководителя восстания гладиаторов в 73–71 гг. до н. э.). Самый знаменитый его носитель – актер Спартак Мишулин (1926–2005). По забавному совпадению он играл в театре Карлсона, то есть история в некотором роде столкнула на одной сцене Святополка и Спартака.

Гораздо более востребованными оказались имена зарубежных идеологов и исторических деятелей более недавнего времени: *Карл* (в честь Карла Маркса), *Клара* (в честь Клары Цеткин), *Роза* (в честь Розы Люксембург), *Эрнст* (в честь Эрнста Тельмана). До революции такие имена носили обрусевшие немцы, но в советское время они неожиданно обрели популярность среди народов союзных республик, что порождало такие фантастические сочетания, как *Карл Молдахметович Байпаков* (я не шучу, это реальное имя казахского археолога, умершего совсем недавно). Насколько эти имена были распространены среди этнических русских, не очень понятно. История советской ономастики еще недостаточно изучена, литература на эту тему

чаще всего ограничивается анекдотами о курьезах имянаречения 1920–1930-х гг., и неясно даже, достоверны ли эти сведения – существовали ли такие имена, или они выдуманы фельетонистами того времени. Однако, например, про имя *Жанна* в честь Жанны д'Арк можно совершенно точно сказать, что оно стало "своим" и в русском быту, и у других народов бывшего СССР, и давно уже не воспринимается как идеологизированное: своеобразным свидетельством этого служит песня Владимира Преснякова – младшего "Стюардесса по имени Жанна", ставшая хитом в 1994 г.

Ну и самый диковинный пример идеологического заимствования имени политического лидера – случай, когда именем оказалась… фамилия. Почему-то жителям латиноамериканских стран во второй половине XX века полюбилось имя Ленин. В наши дни живут и здравствуют американский боксер Ленин Арройо, уроженец Коста-Рики; 46-й президент Эквадора Ленин Морено; венесуэльский правовед Али Ленин Агилера и многие другие.

На самом-то деле превращение фамилии в имя известно и в отечественной практике: в СССР татарские Мураты становились Маратами в честь Ж.-П. Марата, деятеля Великой французской революции. Но в этом случае традиционное имя переосмыслялось как идеологическое, тем более что варьирование гласных в тюркских языках давало такую возможность. Все-таки не Ленин…

Такие политизированные заимствования имен в новейшую эпоху работают немного иначе, чем традиционный обычай давать имена в честь представителей королевских династий. Нарекая ребенка королевским именем, родители обычно надеются таким образом обеспечить ему долю славы и престижа, связанных с этой исторической фигурой. Тогда как использование имен типа *Спартак, Клара* или *Lenin* – это жест идеологической лояльности.

Конечно, в заимствовании имен играет роль и множество других причин – и межэтнические браки, и художественная литература (так, армянам почему-то полюбились имена шекспировских персонажей – Гамлет, Лаэрт, Джульетта), и просто мода. Например, ни с того ни с сего коренные русские вдруг начинают называть детей Робертами; мы с детства привыкли слышать "поэт Роберт Рождественский", и нам это сочетание не кажется нелепым, а вот Анна Ахматова от него морщилась: "английское имя при поповской фамилии"[101]. Об именах можно рассказывать до бесконечности, но тема нашей книги все-таки не происхождение имен, а природа и механизмы заимствований. Не станем отвлекаться и на обсуждение заимствованных фамилий – ведь фамилии чаще всего происходят от имен.

**Так в чем же главное отличие заимствованных имен от других заимствованных слов?** В том, что заимствование имен всегда происходит сознательно, волей конкретных людей. Когда ребенку дают имя, не вписывающееся в прежнюю традицию, это всегда в той или иной степени жест, попытка выделить его, некое послание общественности. Иногда выбор оказывается неудачным: например, русские дети, названные в 1920-е гг. Адольфами, очутились в скверном положении после 1933 г. Моя бабушка вспоминала одного такого Адольфа, которому пришлось срочно переименоваться в Алика.

Однако, как ни парадоксально, для того чтобы заимствованное имя прижилось в ономастиконе и не осталось единичным курьезом, нужно, чтобы его коммуникативная нагрузка хотя бы отчасти стерлась, и рано или поздно это происходит со многими заимствованиями. Предельный случай такого стирания – христианские имена типа *Петр* (*Peter, Pier(re)* и т. д.), которые атеисты, без лишних раздумий, дают своим детям.

В начале этой главы говорилось о том, что имена не обладают никаким собственным значением, кроме указания, что вы имеете дело с этим человеком, а не с другим. Это достаточно легко продемонстрировать: например, английское слово *dick* имеет непристойное значение, однако никого не смущает деловое письмо, подписанное именем *Dick* (и в наше время оно может быть не только уменьшительным от *Richard*, но и вполне официальным). Заимствованные имена – замечательное опровержение идеи, что из-за невозможности назвать предметы вроде *фрака* или *компьютера* на родном языке иностранным словам выдается въездная виза. Такой “визы” не существует. Заимствования происходят потому, что люди в силу своей социальной природы общаются между собой, а языки стремятся к этому общению приспособиться – ведь они служат его средством. И чаще всего это происходит помимо воли отдельных людей и даже целых групп людей. Личные имена – исключение, только подтверждающее правило: даже имя не так просто ввести в обиход, не получилось же в России с Рюриками. Имя само по себе – не способ коммуникации, а лишь повод к ней.

О том, как языки “притираются” друг к другу в процессе коммуникации, – в следующих главах.

# 9. И всё это тоже слова!

# 1. Междометия

Как уже говорилось в предыдущих главах, при слове "заимствования" большинству людей автоматически приходят в голову существительные. В крайнем случае, прилагательные или глаголы. Мысль, что заимствовать можно, скажем, междометия, на первый взгляд кажется странной.

Однако любому известны такие междометия, как *ура* и *браво*. Оба они заимствованные: *ура* одни лингвисты считают заимствованным из верхненемецкого *hurra* (от глагола *hurren* "спешить"), а другие – из тюркского *ura* "бей". Видимо, правы все-таки первые, так как в английском языке тоже есть междометие *hoorah* (*hooray, hurray*), а во французском – *hourra* (которое произносится так же, как русское *ура*). Вряд ли англичане и французы одновременно заимствовали одно и то же слово из тюркских языков (и каких, интересно?). А вот лексикон русской армии в XVIII в. активно пополнялся немецкими и французскими словами.

Слово *браво*, когда-то принадлежавшее к жаргону любителей оперы, а ныне знакомое всем, заимствовано из итальянского – от *bravo* "молодец" или "хорошо". Другое театральное междометие *бис* происходит от французского *bis* "еще", которое, в свою очередь, восходит к латинскому *bis* "дважды" (латинское слово, однако, междометием не было). От него же в русском языке образовались наречие *на бис* (*исполнить песню на бис*) и глагол *бисировать* (с тем же значением). Цирк подарил нам междометие *алле* – от французского *allez* ("давайте", буквально "идите").

Собаководы тоже, зачастую не отдавая себе в этом отчета, обращаются к своим питомцам по-французски – *апорт* (от *apporte* – "принеси"). В старину бытовала еще одна французская собачья команда – *тубо*, которая означала "нельзя", однако довольно неожиданным образом происходит от французского словосочетания *tout beau* "все хорошо". Сейчас, по-видимому, она уже не используется – владельцы собак обычно употребляют русское *нельзя*.

Человеческая команда *марш* тоже заимствована из французского. Может показаться, что это просто использование существительного в значении междометия – по аналогии со словами *гол* или *караул*. Но это не так: во французском *marche* – также и повелительное наклонение единственного числа ("иди"). Изначальная форма команды, сохранившаяся в военном быту, – *шагом марш*, то есть "иди шагом", а разговорное *марш*, соответственно, является сокращением этого выражения.

В русском строительном жаргоне присутствует весьма странная комбинация антонимических междометий *вира* (“поднимай”) и *майна* (“опускай”). Если по поводу первого все этимологи более-менее согласны, что оно происходит от итальянского *virare* “поворачивать”, то происхождение слова *майна* более туманно. Словарь Фасмера фиксирует его как слово из жаргона черноморского флота со значением “поднимать (! – *М. Е.*) паруса”, ссылаясь на словарь Даля. (Впрочем, в прижизненных изданиях Даля это слово отсутствует и появляется только в 3-м издании под редакцией И. А. Бодуэна де Куртенэ.) Там же Фасмер предлагает этимологию от итальянского *ammainare*, которое значит, однако, именно “опускать” (флаги или паруса). Видимо, Бодуэн де Куртенэ все же ошибся со значением. Надо отметить, что у Фасмера это слово записано как *(am)mainare*, что может внушить впечатление, будто в итальянском оно членится. На самом деле глагола *mainare* в итальянском нет[102]. Помимо этого, Фасмер упоминает новогреческое слово μαϊνάρω (*mainárō*) с тем же значением, заимствованное из итальянского. Словарь новогреческого языка И. П. Хорикова подтверждает существование глагола с таким значением и приводит формы с начальным *е*. Непонятно, почему Фасмер не говорит о греческом посредстве, ведь значительная греческая диаспора существовала в Причерноморье до середины XX в. Она существенно сократилась из-за печальных событий сталинских депортаций народов в 1940-е гг.[103], а затем многие из оставшихся греков эмигрировали в Грецию после распада СССР. По всей вероятности, усечение первого слога в слове *майна* произошло именно при прохождении через греческий.

Во всех этих случаях мы имеем дело с междометиями, которые образовались из знаменательных слов – даже французское *bis*, как мы помним, восходит к латинскому “дважды”. Однако бывают случаи, когда междометия заимствуются именно в качестве междометий. Так, в XXI в. в русскую речь вошли английские междометия *упс* (*oops*) и *вау* (*wow*). Причины заимствования здесь достаточно понятны: отсутствие в русском языке междометий с нужными оттенками эмоциональности. Словечко *упс* выражает огорчение, разочарование или раздражение, но в вежливой форме, тогда как исконно русские междометия с этим оттенком значения, как правило, являются бранными (или, по крайней мере, эвфемистически замещают ругательства – ср. *блин*). Напротив, восклицание *вау* выражает восхищение с оттенком удивления. Исконно в русском языке для этих целей служило междометие *ах*, но для современного носителя русского языка оно ощущается как манерное, книжное или устаревшее – то есть опять-таки принадлежит к неподходящему стилистическому регистру.

# 2. Местоимения

Не ошибка ли, что в эту главу попали местоимения? Ведь грамматика относит их к знаменательным частям речи, а мы только что обсуждали междометия и собираемся затем обсуждать предлоги и союзы. Но в восприятии широкой публики местоимения, точно так же как и служебные части речи, – не “настоящие” слова. И основания для этого есть: хотя местоимения склоняются и изменяются по роду и числу, то есть имеют грамматическое значение, они не имеют собственного семантического значения – они ничего не называют, а лишь замещают существительные, прилагательные и другие части речи[104]. С этой точки зрения они ближе к служебным частям речи – они в большей степени выражают отношения, чем что-либо называют. Неслучайно местоимения лексически пересекаются с союзами: например, русское *что* может служить и вопросительным местоимением, и относительным местоимением, играющим роль союзного слова, и полноценным союзом. Сравните:

Что это там под столом?
Я не знаю, что с ним случилось.
А ты слышал, что Тарантино снял новый фильм?

Казалось бы, местоимения принадлежат к самому стабильному словарному набору языка. Их даже включают в так называемый базовый список Сводеша – список основной лексики, которая, как считается в сравнительно-историческом языкознании, меняется медленнее всего и потому может служить основой для определения времени расхождения языков от общего предка. Надежность этого метода датировки эволюции языков небесспорна, и не все лингвисты его признают, впрочем, уделять место дискуссиям здесь не станем, поскольку книга не об этом. Но в случае с местоимениями интуитивно кажется очевидным, что они мало подвержены изменениям – как будто бы нет причин заимствовать слова, обозначающие “он”, “мы” или “что-то”.

И тем не менее заимствования местоимений происходят! И два из них известны любому читателю, который хотя бы начинал учить в школе английский. Это личное местоимение *they* “они” (в косвенном падеже *them*) и притяжательное *their* “их”. В древнеанглийском языке их функции выполняли другие слова – *hīe* и *heora*. Дательный падеж от *hīe* звучал как *him*, что, наверное, вызывало путаницу, потому что местоимение единственного

числа “ему” в древнеанглийском, как и в современном английском, тоже имело вид *him*. Пойми-ка тут, имеется в виду один человек или много! А нынешние формы местоимений – скандинавского происхождения и попали в английский язык в эпоху викингов, с которыми у англосаксов были тесные и напряженные отношения в IX–XI вв. (одно время на английском престоле даже сидел датский король Кнуд Могучий). Благодаря заимствованным местоимениям англичане удачно сумели развести единственное и множественное число в третьем лице.

Английский – не единственный язык, где имеются заимствованные местоимения. Личные местоимения “я” и “ты” (*yaŋ* и *man* соответственно) в язык южноамериканских индейцев миски́то пришли из родственного языка сумо[105]. В языки финно-угорских народов России – мордвы, хантов, манси, вепсов – попали русские определительные местоимения *каждый* (причем в просторечной форме *кажный*) и *всякий*[106]. И, как ни странно, самим русским тоже не всегда было чуждо заимствование местоимений: в церковнославянском, а следовательно, и в книжном древнерусском было неопределенное местоимение *етеръ* “некий”, из греческого “иной, другой”.

Совершенно причудливый казус произошел с папуасским языком камбот, который усвоил личные местоимения “я” и “ты” из принадлежащего к другой семье языка ятмуль. Причем ятмульское местоимение “я” в камботском получило значение “ты”, а “ты” – “я”[107]. И чтобы окончательно все запутать – ятмульское “ты”, ставшее “я” в камботском, – изначально женского рода (мы привыкли, что в европейских языках второе лицо местоимений не имеет рода, но в других языках местоимения могут различаться по родам и во втором лице). Как такое могло случиться? Невольно представляется сцена из классического черно-белого “Тарзана” 1932 г., где на 42-й минуте Джейн пытается объяснить Тарзану смысл местоимений “ты” и “я”. Она указывает на него и говорит “ты”, а он радостно повторяет – указывает на себя и тоже говорит “ты”. Может быть, в обмене местоимениями сыграли роль смешанные браки, в которых жених не понимал языка невесты и наоборот? Впрочем, существует и альтернативная гипотеза, согласно которой эти местоимения не были заимствованы, а изначально присутствовали в каждой из языковых семей.

Еще любопытнее дело обстоит с языками Юго-Восточной Азии, которым свойственна так называемая открытая система личных местоимений. В европейских языках, привычных нам, набор личных местоимений очень небольшой и постоянный. В большинстве случаев мы можем назвать себя только “я”, а

собеседника – только “ты” или “вы”, и никак иначе. Но в языках Юго-Восточной Азии, таких как тайский, личных местоимений существует множество, они отражают тонкости социальной иерархии, и их арсенал нередко пополняется из запаса существительных. Как альтернатива могут использоваться и заимствования: так, по свидетельству Кристофера Корта, тайские дети используют в общении между собой китайские личные местоимения; взрослые тайцы могут использовать английские местоимения, чтобы избежать неуместных коннотаций социальной и возрастной иерархии, которой нагружены местоимения в тайском[108]. В связи с этим лингвисты даже поднимают вопрос: не является ли наше представление, что местоимения – наиболее стабильная часть словаря, всего лишь стереотипом, который продиктован особенностями индоевропейских языков[109]. Если так, то это существенно осложняет работу глоттохронологии, пытающейся датировать расхождения языков других семей.

# 3. Предлоги

Ни один известный мне учебник русского языка, ни одна научно-популярная книга или статья для широкого читателя, где заходит речь о заимствованиях, не упоминают эту часть речи. Казалось бы, заимствовать предлоги уж и вовсе нет никаких причин: ведь ничего нового они не называют, они лишь выражают отношения между знаменательными частями речи, и, как правило, в любом языке вполне достаточно предлогов, чтобы выразить любые связи.

И тем не менее предлоги тоже попадают в необычайные приключения. Возьмем такие – уже ставшие привычными русскому слуху – словосочетания, как *платье от Юдашкина* или *костюм от Версаче*. Вот, так сказать, концентрат этой манеры изъясняться:

> Киркоров радостно демонстрировал пиджак и белую рубашку от Ямамото, джинсы от Диора, массивную серебряную цепь на груди – от Версаче. Кристина Орбакайте уже переоделась в блестящие шароварчики от Готье[110].

Кажется, что предлог *от* в них чисто русский и никакого отношения к заимствованиям не имеет. Но зачем вставлять его в эти словосочетания, если можно просто сказать *рубашка “Ямамото”* и *джинсы “Диор”*? И почему, собственно, *джинсы от Диора*, но не *джинсы от Левиса,* а только *джинсы “Левис”* (примеры с *джинсами “Левис”* фиксируются еще в советских текстах)? Обратим внимание, что предлог *от* фигурирует только в сочетании с именами престижных производителей, но не масс-маркета. Почему он оказывается знаком статусности?

Похоже, дело в том, что словосочетания типа *от Диора* были образованы по модели галлицизма *от кутюр*. В котором *от* вовсе не предлог, а прилагательное – по-французски это словосочетание пишется *haute couture*, “высокая мода”. *Haute* и есть “высокая”, прилагательное женского рода. Правда, в оригинале совсем не похоже на русский предлог?

Но русское ухо в словосочетании *от кутюр* расслышало предлог. Омонимия становится предметом шуточного обыгрывания. Например, журналист сталкивает словосочетание *от кутюр* со строчкой из популярной песни – *От Москвы до самых до окраин*:

Была на фестивале и команда дизайнеров из Белоруссии. В общем, география участников – “от кутюр до самых до окраин”[111].

В другом случае предметом шутки оказываются неудачные потуги рекламщиков использовать это словосочетание с целью создать впечатление чего-то престижного. Покойный Спартак Мишулин, чье имя уже возникало в восьмой главе этой книги, веселился в конце 90-х:

На прошлой неделе рядом с моим домом вывесили новую рекламу: “Покупайте сигареты от кутюр”. Курды – знаю, турки – знаю. А вот кто такие кутюры – хоть убей не пойму[112].

*Кутюр* истолковывается как родительный падеж множественного числа по аналогии с *болгар, татар*. Соль шутки в том, что, конечно, русский предлог *от* присоединяет существительные в родительном падеже.

Но вот писатель Сергей Лукьяненко, похоже, без всякой иронии считает, что *от* – предлог:

Кто-то кутит в ресторанах, кто-то покупает дорогой автомобиль, кто-то одевается “от кутюр”.

*(“Ночной дозор”, 1998)*

Глагол *одеваться* непереходный, и он обязательно требует предлога: *одеваться в пальто, одеваться со вкусом* и т. п. Может быть, *от кутюр* тут наречие? Одеваться как – *от кутюр*? Вряд ли, поскольку выражение *одеваться от* свободно сочетается с именами конкретных модельеров:

> …оттого наши молодые правды в театре могут одеваться от Версаче, а под платьем носить увядшую мысль Суслова[113].
>
> Екатерина одевается от Армани и выглядит очень достойно…[114]

Можно ли говорить о том, что *от* во всех этих случаях просто омонимичен русскому предлогу *от* в таких выражениях, как *отойти от двери* или *письмо от тети*? Так, да не совсем так. Дело в том, что в русском языке еще в позапрошлом веке предлог *от* применялся к одежде: *доставили платье от портного / от модистки*. Ср. например, у Достоевского:

> Накануне свадьбы князь оставил Настасью Филипповну в большом одушевлении: из Петербурга прибыли от модистки завтрашние наряды, венчальное платье, головной убор и прочее, и прочее.
>
> *(“Идиот”, 1869)*

Или вот такие примеры из Национального корпуса русского языка:

> Доложите, почтеннейший, что француз-закройщик платье принес от портного Плевушина.
>
> *(В. Г. Авсеенко, “Петербургские очерки”, 1900)*

> Теперь, в противоположность неряшливости Ивана Андреевича, надо рассказать о щепетильной аккуратности Гнедича: он был весь чист, как стеклышко. Платье на нем, казалось, сейчас от портного; рубашка и батистовое жабо блестели, как серебро.
>
> *(М. Ф. Каменская, “Воспоминания”, 1894)*

Поскольку одежду в то время редко покупали в магазинах, а чаще всего заказывали портным и *от них* получали на дом, то употребление предлога *от* совершенно логично – он имеет нормальный почтовый смысл. Но обратим внимание на

последний пример с описанием внешности переводчика Н. И. Гнедича. Здесь нет глагола доставки: *Платье на нем, казалось, сейчас от портного*. Подразумевается, конечно, “только что было доставлено от портного”. Но грамматическая модель для *от Версаче* и *от кутюр* уже вырисовывается.

А вот уже почти полное соответствие:

> А, впрочем, у моего Джанни было семь пар платья – на все случаи жизни, от лучших портных! – тысячи на две франков; один вечерний костюм, в котором он ходил в кафе в кости играть, триста франков стоил…
>
> *(А. В. Амфитеатров, “Марья Лусьева за границей”, 1911)*

Но *от* во всех этих случаях следует понимать буквально: портные шили вещи и отсылали их клиенту на дом. Современное употребление *от*, конечно, никакого отношения к этому не имеет: вещи *от Армани* или *от Версаче*, как правило, куплены в магазине самим потребителем, и даже когда Версаче был жив, он самолично клиентам сшитые костюмы не рассылал.

Таким образом, народная этимология истолковала *от* в словосочетании *от кутюр* как предлог, потому что в языке сохранялась память о том, что когда-то одежду получали *от портного*[115]. Заимствование скрестилось здесь с исконно русским употреблением предлога *от*.

Придирчивый читатель спросит, можно ли это считать заимствованием? Ведь французское слово *haute* в данном случае слилось с русским *от* до неразличимости, и без специального исторического экскурса о заимствовании трудно догадаться. Но разве эта история не один в один повторяет историю глагола *кликнуть*, о котором рассказывается в главе 3? Ведь сложно отрицать, что *кликнуть* в оборотах типа *кликнуть мышью* – заимствование.

Ну хорошо, спросит читатель, а есть ли в русском языке предлоги, которые были заимствованы напрямую из другого языка? Конечно, есть. Это, например, предлог *среди*. По-русски он должен был бы звучать как *середи*, и иногда в стилизациях под фольклор мы видим форму *середь*. Но так уж случилось, что в русском языке закрепилась неполногласная церковнославянская форма, а церковнославянский, напомним, относится к южнославянским языкам – в отличие от восточнославянского русского.

Стилистические правила русского языка весьма прихотливы, потому что мы используем в нейтральной речи

церковнославянское *среди*, но исконно русские *через* и *перед*. Заимствованные церковнославянские формы *чрез* и *пред* воспринимаются как поэтические архаизмы – как, в общем-то, они и должны восприниматься. Но вот в случае со словом *среди* именно коренное русское *середи/середь* оказывается в роли поэтического архаизма. Можно заметить, что, когда речь заходит о церковнославянском, поведение предлогов ничем не отличается от поведения других церковнославянских заимствований в русском: они также образуют стилистические пары с исконно русскими словами. И даже со знаменательными частями речи случаются казусы, подобные тому, что произошло со словом *среди*: вспомним, что коренное русское слово *полóн* очутилось в роли архаизма, а нейтральным стало церковнославянское *плен*.

Неудовлетворенный читатель на этом месте может спросить: а бывают ли предлоги, чтобы вот прямо с первого взгляда было видно заимствование? Чтобы оно так же бросалось в глаза своей иностранностью, как слова *жюри* или *принтер*?

В русском языке, конечно, такие случаи найти непросто, а вот в английском – гораздо легче. Например, составной предлог *except for* “кроме”. Первая его часть – явно не англосаксонского, а латинского происхождения, от латинского *exceptio* “исключение, изъятие” (ср. английское *exception*). В английском языке существует и его синоним *save for*, где первое слово – тоже латинизм, но стертый: слово *save* произошло от латинского глагола *salvare* “спасать”, но давно не ощущается как иностранное.

Английские же предлоги, в свою очередь, используются как заимствования в японском языке, иногда с забавными смещениями значения – например, предлог *in* (“в”) в японском приобрел значение “с”: *rinse in shanpuu* означает “шампунь с кондиционером”, а *chiizu in hanbaagu* – “гамбургер с сыром”[116]. Интересно, что и сами существительные в этих примерах все заимствованные, включая слово *rinse* (это английское “ополаскивать”). Но порядок слов японский: с точки зрения англичанина, это звучит как “кондиционер в шампуне” и “сыр в гамбургере”, потому что по-английски принято говорить *shampoo with conditioner, a hamburger with cheese*.

Английские заимствования в японском составляют целый мир, огромный и очень любопытный, но, не будучи специалистом по японскому, я не рискну вторгаться в эту область. Тем, кто хорошо владеет английским и всерьез интересуется лингвистикой, могу порекомендовать воспользоваться базой данных научных публикаций Google Scholar и поискать там работы на эту тему – их достаточно много.

# 4. Союзы и союзные слова

Если нужно найти в русском языке часть речи, наиболее устойчивую к заимствованиям, то, вероятнее всего, это союз. Русский язык не очень-то соглашается принимать к себе даже церковнославянские союзы, хотя во всех остальных случаях охотно распахивает двери перед церковнославянской лексикой. Например, нас не удивляет, когда поэты щеголяют церковнославянизмами типа *врата, влачить* или *заклание*, но мы сочтем неуместной архаикой или напыщенной стилизацией, если в светской литературе нам попадется союзное слово *иже* или союз *яко*[117].

Однако в других языках примеры заимствованных союзов найти можно. Так, в английском языке есть союзные слова *till* (“до того, как”) и *until* (“пока не”). Они скандинавского происхождения и попали в английский тогда же, когда и местоимение *they,* – в эпоху викингов. Коптский язык, потомок языка древних египтян, освоил греческие союзы, например, *allá* и *dé*[118] (к сожалению, в Средневековье коптский вымер). А испанский союз *pero* (“но”) вошел во множество самых разнообразных языков коренного населения Южной Америки, Океании и Филиппин. Сами эти языки зачастую совсем не родственны друг другу. Объединяет их лишь то, что территории, где на них говорят, – это бывшие испанские колонии, где испанский до сих пор остается языком международного общения. Подчеркнем, речь идет не о креольских языках, которые образуются от смешения европейских языков с языками коренных народов. Описываемые языки – живые исторические языки общения этих народов, такие как, например, язык индейцев кечуа. И при этом испанский союз *pero* (и некоторые другие испанские союзы) закрепились в них. Почему так произошло? Одна из гипотез состоит в том, что, поскольку союзы играют организующую роль в речи, коренным народам Южной Америки и Океании понадобилось изменить свою структуру речи, перестроить ее “по-испански” для достижения коммуникативного успеха[119]. Эта гипотеза не слишком убеждает – ведь с испанцами как представителями власти можно было общаться на испанском, на пиджинах или креольских языках, а испанские союзы попали как раз в те языки, на которых коренные жители колоний общались между собой. Похоже, мы еще чего-то не понимаем в том, как происходит процесс заимствований.

# 5. Частицы

Это, пожалуй, одна из самых загадочных и удивительных частей речи. Сами по себе они вроде бы не значат ничего, если не считать слов *да* и *нет*, которые не всегда, впрочем, признают частицами – иногда их относят к междометиям, поскольку они могут употребляться самостоятельно и заменять целое предложение[120].

Во-первых, частицы нужны для того, чтобы выражать модальность высказывания:

> Петя вернул книгу. → Петя не вернул книгу.
>
> Я пошел в кино. → Я пошел бы в кино. (= на самом деле говорящий не ходил в кино, но он хочет это сделать или воображает, как это сделает.)

Интересно, что употребление отрицания имеет свои ограничения – язык не запрещает фразу *Петя не бегает по потолку*, но на практике мы так не скажем, потому что Петя заведомо ходит по полу. Мы говорим *Петя не вернул книгу* именно потому, что в норме подразумевается, что Петя ее вернет. Отрицательная частица *не* довольно сильно связана с нарушением ожидания.

Во-вторых, частицы нужны для того, чтобы связывать предложения внутри текста. Сравним:

> Я пошел в кино.
>
> Я же пошел в кино. (В отличие от кого-то, о ком упоминалось в предыдущем предложении.)

В-третьих, частицы нужны для того, чтобы нюансировать высказывание:

> Я постараюсь. (Нейтральное высказывание.)
>
> Я уж постараюсь. (Усиление, стремление привлечь внимание.)

Это лишь немногие из возможных функций частиц. Перечислять их все не хватило бы места; отсылаем читателей к справочной литературе[121].

Как раз в этой области тонких, разнообразных и порой ускользающих смыслов открывается большой простор для заимствований. Ведь в частицы нередко переходят знаменательные слова: *хорошо, скорее, простите* и т. д. Казалось

бы, среди частиц заимствований должно быть много. Но русский язык в этом отношении разочаровывает – их количество ничтожно. Редким примером может служить слово *буквально*, которое происходит, конечно, от *буквы* (это слово, по-видимому, германского происхождения – ср. известное всем английское *book* “книга”). Но если слово *буква* давно обрусело и заимствование в нем не чувствуется, то нельзя сказать того же о суффиксе *-аль*. Обычно он встречается в типичных заимствованных прилагательных: *горизонтальный, фронтальный, театральный, суффиксальный, патриархальный, центральный*. И конечно, в наречиях, если таковые могут быть образованы, – например, *горизонтально* от *горизонтальный*. Нетрудно догадаться, что *буквально* – исходно наречие, образованное от прилагательного *буквальный*. Но слова типа *центральный* заимствованы из европейских языков в готовом виде (ср. англ. *central*, франц. *central*), а слово *буквальный* сконструировано заново по аналогии с этими словами. Использованный в нем суффикс *-аль* заимствован из латыни, где он имел вид *-alis*. Про заимствования отдельных морфем еще будет рассказано в следующей главе. А пока можно лишь удивляться приключениям слова: сначала к германскому заимствованию приделали латинский суффикс и образовали от него прилагательное, потом из него получилось наречие, а потом оно стало частицей. Наречие, конечно, никуда не делось: в предложении *Это следует понимать буквально* слово *буквально* – наречие. Но если мы говорим, например:

Собака буквально растерзала тапки.

– то это, конечно, частица, потому что собака не может растерзать тапки в переносном смысле. Здесь частица *буквально* сообщает адресату: “я не преувеличиваю, все так и было”.

Можно еще вспомнить частицу *типа*, которая, конечно же, представляет собой родительный падеж слова *тип*. Само это слово заимствовано из французского: *type* – так первоначально назывался оттиск на печатном станке (отсюда же наше *типография*). А французское слово, в свою очередь, происходит от греческого *týpos* “удар”. Старые способы печати требовали солидных усилий для получения отпечатка; еще в моем детстве бытовало выражение *набивные ткани*, то есть ткани, на которые *набивают* рисунок. Но из слова *тип* семантика “удара” почти сразу ушла, и основным его смыслом стало “подобие”. В современном просторечии частица *типа* синонимична частице *вроде* (которая представляет собой слившееся словосочетание – *в роде*, то есть “в той же категории”). Но частица *вроде* исконно русская, а *типа* – заимствование.

Куда менее интересны заимствованные частицы, связанные с иностранной дворянской титулатурой и обозначением происхождения в фамилиях или прозвищах: немецкое *фон*, нидерландское *ван*, французское *де*, итальянские *да* и *дель*. Такое впечатление, что их и в частицы-то запихнули только потому, что не нашли, куда приткнуть в русском языке, в какой грамматический разряд. Ведь во всех языках, откуда они пришли, они служат нормальными предлогами, и все они обозначают “из”. Многие, наверное, задавались вопросом, почему Жанна д’Арк так именуется – ведь она была простой крестьянкой. А просто *д’Арк* значит “из Арка”, и во Франции вовсе не обязательно быть дворянином, чтобы обзавестись *de* или *d’* перед прозвищем. Такие “частицы”, строго говоря, нельзя назвать полноценными русскими частями речи – их сфера применения очень ограничена, они используются только в иностранных именах.

Проблема заимствования частиц исследована довольно слабо, в том числе потому, что основная масса лингвистических исследований в наше время публикуется на английском и французском, а в этих языках развитой системы частиц нет, в результате “частицами” исследователи, пишущие на этих языках, порой именуют совсем не то, что под этим подразумеваем мы. Так, автор одной работы о взаимодействии испанского с языками андских индейцев именует “частицами” союзы и местоименные наречия[122]. Возможно, эта книга вдохновит кого-то из читателей на исследование вопроса, насколько часто частицы путешествуют из языка в язык и какие приключения они при этом переживают.

# 10. Папа, лошадист поехал!

До сих пор, говоря о заимствованиях, мы по умолчанию подразумевали слова. И правда, для неискушенных в лингвистических тонкостях людей язык из слов и состоит: часто они искренне не понимают, например, почему нельзя переводить научные статьи “Гуглом”. Казалось бы, это не художественная литература, в которой нужны какие-то сложные языковые приемы, – подставляй одно слово на место другого, и все тут… Однако на практике все оказывается гораздо сложнее – даже если за дело берется не машина. А уж возможности искусственного интеллекта по этой части сильно преувеличены[123].

Наглядный пример. Все, у кого основной иностранный язык – английский, со школы слышали, что в английском предложении непременно должны быть подлежащее и сказуемое, что выпускать их, как в русском, нельзя. Однако, когда российский ученый начинает писать аннотацию на английском к своей работе, чаще всего из-под его пера выходит что-то вроде: *In the book is said…* – “В книге говорится…” Постойте, а где же здесь подлежащее? Что относится к глаголу *is*? Ведь “в книге” – это не подлежащее, а обстоятельство! А просто составитель аннотации не подумал и механически подставил английские слова на место русских, забыв, что в английском не бывает односоставных предложений. Как же правильно? А правильно будет совсем по-другому: *The book says…* Дословно – “Книга говорит…”. На самом деле в английских аннотациях, конечно, вообще так не пишут – там принято приводить лишь краткий пересказ содержания книги, но это уже другая область, которая называется речевым этикетом.

Итак, язык – это не только слова, но как минимум еще и грамматика. Со школы мы помним, что грамматика включает в себя морфологию и синтаксис. Это весьма обширные области, так что каждая из них заслуживает отдельной главы. Начнем с морфологии.

# 1. Корни

В школе при разборе слова нас учат в первую очередь выделять корень. Может показаться, что упоминание корня в разговоре о заимствованиях морфем излишне – ведь во всех заимствованных знаменательных словах есть корень, и он нередко начинает вести себя продуктивно в том языке, куда он попал: *теннис – теннисный – тенниска, салат – салатный – салатовый* (цвет) – *салатница* и т. д. Однако корень вовсе не обязательно заимствуется вместе со словом. Бывают такие случаи, когда заимствованный корень не дает в языке самостоятельного слова.

Это происходит, например, при образовании сложных слов. Нам уже случалось вспоминать грибоедовскую шутку про “смешание французского с нижегородским”, когда речь заходила о слове *светофор*. Ведь в нем первый корень чисто русский, а второй греческий – от *phorós* “носитель” (святой Христофор потому и *Христо-фор*, что, согласно легенде, перенес младенца Христа через реку).

Кто придумал русское слово *светофор*, неясно. Светофоры появились в Москве и Ленинграде в начале 1930-х гг., и первые упоминания слова *светофор* – практически тогда же: В. П. Катаев в романе “Время, вперед!” (1931–1932) и К. Г. Паустовский в повести “Кара-Бугаз” (1932, глава “Полководец”) употребляют это слово без всяких пояснений, как будто оно уже всем понятно. А во второй половине 1930-х гг. его уже можно найти в словаре Д. Н. Ушакова[124]. Похоже, в русский язык оно вошло молниеносно и прижилось там с рекордной скоростью.

Очевидно, оно “изготовлено” по образцу слова *семафор*. Семафоры начали применяться на железной дороге еще в XIX в. и послужили подсказкой, что делать, когда понадобилось регулировать автомобильное движение. Вообще же слово *семафор* происходит из лексикона моряков – так обозначалась передача сигналов цветными флажками. Но в нем оба компонента греческие, первый означает “знак”. Тогда как в русском слове *светофор* ко второму греческому корню приклеился русский *свет-*. И сам по себе в русском языке корень *-фор* ничего не значит, хотя, помимо *семафора*, у нас есть еще некоторые специализированные научные термины, например *сифонофоры* и *погонофоры* (названия морских животных, от греческих *siphōn* “трубка” и *pōgōn* “борода”).

Второе такое же необычное слово, более позднего происхождения – *домофон*. Его историю установить еще труднее.

В широкое употребление оно вошло в 1990-е гг., но первый пример фиксируется Национальным корпусом русского языка аж в 1983 г. Почему-то русский язык в эпоху, когда хорошим тоном стало заимствование новых слов из английского, не пошел в данном конкретном случае по пути наименьшего сопротивления и не обзавелся *интеркомом* (англ. *intercom*), а предпочел сконструировать собственное слово. Носителю русского языка интуитивно понятны аналогии со словами *телефон, магнитофон, граммофон* – причем все эти слова для обозначения техники, связанной с передачей звука (греч. *phōnḗ*), сконструированы искусственно, так как у древних греков, естественно, этих предметов не было. Но вот слова *фон* как отдельного корня с таким значением в русском языке нет. Живописный *фон* происходит от совсем другого слова – от французского *fond* “основа”. К звуку он отношения не имеет.

Так что *-фор* и *-фон* – своего рода связанные корни, которые не имеют собственного лексического значения в русском языке и нужны только для словообразования. В этом они близки суффиксам и приставкам.

# 2. Суффиксы

В предыдущей главе мы уже встречались с любопытным случаем – словом *буквально*, в котором суффикс был заимствован отдельно от корня: корень германского происхождения, а суффикс латинского. Это показывает, что суффикс *-аль–* в русском языке стал отчасти продуктивным – он зажил самостоятельной жизнью и может использоваться для образования новых слов. Например, существует шуточное слово *шедевральный*, в котором корень *шедевр* – сросшееся французское выражение *chef-d'œuvre* (буквально "главная работа") – соединился с суффиксом *-аль-*. Такой же суффикс латинского происхождения *-al* есть и во французском, но там нет аналога слову *шедевральный*, это прилагательное – чисто русское изобретение. И да, в словах *буквальный, шедевральный, театральный, горизонтальный, маниакальный, спектральный, музыкальный* и т. д. исторически суффикс именно *-аль-*, а не *-альн-*, как утверждают учебники, дающие разбор слова в синхронии. В них два суффикса – латинский *-аль-* и исконно русский *-н-*.

Это возможно и естественно для русского языка потому, что в русском языке существуют прилагательные типа *обручальный, спальный*. Они образованы совершенно по-другому – от основы инфинитива глаголов *обручать, спать* с суффиксом *-льн–* (учебные пособия настаивают на выделении этого суффикса, хотя этимологически и тут, конечно, правильнее было бы говорить о двух суффиксах *-ль-* и *-н-*). Благодаря этому созвучию иностранные слова типа *музыкальный* не только легко вошли в русский язык, но и сделали возможным появление слов *буквальный, шедевральный*. Нам эта словообразовательная модель совсем не кажется чем-то необычным. Однако, если приглядеться, это сходство лишь внешнее, потому что заимствованные слова на *-альный* образованы от существительных, а исконно русские – от глаголов. Кстати, это наблюдение подскажет, где в слове найти суффикс – ведь в школе обычно определению суффиксов уделяется недостаточно внимания.

Еще более продуктивными оказались такие заимствованные суффиксы, как, например, – *ист* и *-изм*. Слов с этими суффиксами в русском языке огромное множество: *журналист, программист, автомобилист, аквариумист, флорист, оптимист, дзюдоист, коммунист, специалист, пианист, танкист, артист, буддист; оптимизм, марксизм, структурализм, капитализм, метеоризм, феодализм, импрессионизм, садизм, фрейдизм, аристократизм, буддизм* и т. д. Не станем перечислять их все, рискуя утомить читателя, – список можно множить и множить.

Думаю, наиболее наблюдательные уже заметили, что в этом списке суффиксы ведут себя неоднородно. Есть пары *оптимист – оптимизм, марксист – марксизм, буддист – буддизм*, но нет слов **журнализм*[125], **программизм, *дзюдоизм, *специализм*. Пары к словам *журналист, программист, дзюдоист, специалист – журналистика, программирование, дзюдо, специальность*. Аномальную пару образуют *артист – артистизм*, ведь по логике словообразования должно бы быть **артизм*. К словам *танкист, пианист* таких пар и вовсе нет – есть только слова *танк* и *пианино*. И напротив, есть *аристократизм* и *метеоризм*, но нет **аристократиста* и **метеориста* – есть *аристократ* и *пациент, страдающий метеоризмом*. Аналогичная неоднородность свойственна и английскому языку[126] (хотя, например, *journalism* в английском все же есть). Чтобы разобраться, почему так, следует заглянуть в историю суффиксов *-ист/-изм*.

В русский язык суффикс *-ист* попал из западноевропейских языков, в первую очередь французского, где он имеет форму *-iste*.

Во французский же, как и в другие европейские языки, он пришел из латыни, где он звучал как *-ista*. Общая закономерность истории французского языка состоит в том, что конечные латинские *-a* там сначала редуцировались до *-e*, а потом это *-e* переставало произноситься (так называемое *e* немое). Но в поэзии и песенных текстах даже в наши дни могут сохраняться следы старого произношения. Найдите на YouTube песню Эдит Пиаф “Аккордеонист” (“L’accordeoniste”) – вы услышите, что певица довольно четко проговаривает *e* на конце. Хотя в нормальной французской речи слово *accordeoniste* произносится практически так же, как русское *аккордеонист*, без всяких конечных гласных.

Но и в латыни суффикс *-ista* не то чтобы родной – он заимствован туда из греческого *-istḗs* (латинские варианты колеблются между *-ista* и *-istes*). Соответственно русский суффикс *-изм* тоже восходит через западноевропейские языки к латинскому *-ismus*, заимствованному из греческого *-ismós*. Этот греческий суффикс обозначал состояние, деятельность или склонность, а суффикс *-istḗs* – человека, которому это свойственно.

Зачем же римлянам понадобились заимствованные суффиксы? У них было вполне достаточно своих, для образования существительных как от глаголов, так и от других существительных, для обозначения как деятеля, так и действия. Например, от слова *antiqua* “древность” – *antiquarius* “любитель древностей” (не правда ли, вы узнали это слово?); от глагола *donare* “дарить” – *donatio* “дар, дарение” и *donator* “тот, кто дарит” (этому слову родственно наше *донор*); от *excipere* “вынимать” – *exceptio* “исключение” и т. д. Здесь намеренно отобраны самые типичные латинские словообразовательные модели – по ним образованы сотни слов.

В классической латыни действительно непросто найти слова с греческим *-istes/-ista* на конце, но такие все же есть – в словах, целиком заимствованных из греческого. Например, *sophista* – “софист”, то есть представитель философского направления софистики, и *citharista* “музыкант, играющий на кифаре” (ср. наше *гитарист* – *гитара* и есть потомок античной *кифары*). Более продуктивным этот суффикс стал в христианскую эпоху, поскольку Новый Завет был написан на греческом, а затем переведен на латынь. Ранние христианские богословы, писавшие на латыни, испытывали большое влияние греческой книжности. Так появилось, например, слово *evangelista* (“евангелист”), а прозвище Иоанна Крестителя было переведено как *Baptista* (точнее, оставлено непереведенным с греческого, ведь оно изначально образовано от греческого глагола со значением “купать” – ср. *Иван Купала*). К позднему Средневековью эти слова

утвердились и в разговорных языках Западной Европы, в первую очередь французском. А вот изучение греческого, как ни странно, надолго заглохло – интерес к этому языку на Западе угас еще до раскола между Римской и Константинопольской церквями в 1054 г.

Но настоящий бум продуктивности суффикса *-ist(e)* начался в XVI в., в конце эпохи Возрождения, или Ренессанса. К этому времени образованная европейская элита всерьез увлеклась греческим. Необходимо заметить, что, хотя популярная литература описывает Возрождение как воскрешение античной культуры, “Античность” для европейцев на протяжении долгих столетий означала лишь римскую Античность. Франческо Петрарка (1304–1374), которого считают зачинателем ренессансного движения[127], греческим почти наверняка не владел, зато в совершенстве читал и писал на классической латыни. Греческую литературу в Европе знали не особенно хорошо и преимущественно в латинских переводах. Все резко изменилось после падения Константинополя, захваченного турками-османами в 1453 г. В Западную Европу хлынул поток византийских беженцев, среди которых было множество представителей отборной интеллектуальной элиты – философов, поэтов, ученых, врачей, инженеров. К началу XVI в. в одной только Венеции проживало около 5000 греков[128]. Теперь было у кого учиться языку, и, конечно, европейцы поспешили познакомиться с тем, о чем знали раньше только понаслышке, – с греческой литературой на языке оригинала, которую привезли с собой “понаехавшие”. В XVI в. знание греческого стало обязательным для всякого, кто претендовал на ученость; его изучали не только университетские профессора, но и придворные щеголи, желавшие блеснуть познаниями в изящной словесности.

Конечно, это увлечение не могло не отразиться на языке. Так, в английском уже в XVI в. суффикс *-ist* дал множество новообразований, в числе которых *humanist* (с 1589 г.) и *linguist* (с 1588 г.[129]). Но, вероятно, успех суффикса не был бы так велик, если бы не особенности политической и религиозной ситуации в Европе XVI–XVII вв. Это эпоха Реформации, религиозных войн, становления абсолютизма и первых публичных дискуссий о природе государства; она открылась скандальным выступлением Мартина Лютера против католической церкви и завершилась второй английской революцией, после которой был принят Билль о правах. Старый новый суффикс оказался чрезвычайно удобен для характеристики религиозных и политических убеждений – *папист* (*Papist*), *роялист* (*Royalist*), *кальвинист* (*Calvinist*) и т. д.

Нарождающиеся отрасли современной науки и медицины

тоже нуждались в новом языке, и им тоже пригодился этот суффикс. Так, в XVIII в. появляется французское слово *dentiste* (русское *дантист* отражает как раз французское произношение). Его, по-видимому, изобрел врач Пьер Фошар, опубликовавший в 1728 г. книгу *Le Chirurgien Dentiste, ou Traité des Dents* (“Хирург-дантист, или Трактат о зубах”). А в 1759 г. впервые отмечен английский вариант – *dentist*.

Таким образом, уже с XVI в. этот суффикс – как и соответствующий ему *-ism(e)* – был высокопродуктивен в европейских языках. В русский язык эти суффиксы пришли гораздо позже – в XVIII–XIX вв., через посредство французского. И хотя изначально русский язык заимствовал не суффиксы, а слова типа *артист, артиллерист* целиком[130], возможности словообразования с их помощью были осознаны очень быстро. Одно из самых ранних слов, возникших таким образом, – *декабрист*. Его придумали вовсе не составители учебников по истории; оно возникло буквально по горячим следам восстания 14 декабря 1825 г. Во всяком случае, цензор А. В. Никитенко употребляет слово *декабристы* в своих дневниках еще в 1828 г., а через три десятилетия, в эпоху александровских реформ и смягчения цензуры, это слово уже активно употребляется в печати. И. А. Гончаров во “Фрегате «Паллада»” пишет: “… перебывал у всех декабристов, у Волконских, у Трубецких” (1855) – то есть многие участники событий были на тот момент еще живы, и название *декабристы* за ними закрепилось.

XX в. с его политическими потрясениями принес новый расцвет русского словообразования на *-ист* и *-изм*. На политической арене, помимо уже известных *монархистов, анархистов* и *марксистов*, появились *октябристы*. В литературе возникли *символисты, акмеисты, футуристы* и даже *имажинисты* – по аналогии с *импрессионистами* и *кубистами* в живописи. Самостоятельно была заново открыта западная традиция использовать суффиксы *-изм* и *-ист* в пейоративном значении: как только литературоведы кружка ОПОЯЗ в начале 1920-х гг. заговорили о “формальном методе” в литературоведении, их идейные противники немедленно изобрели бранную кличку *формализм*, которая вскоре распространилась не только на литературоведение, но и на все, что не нравилось советским идеологам, – подобно тому, как англичане XVI–XIX в. ругали “папизмом” все проявления религиозности, которые были им несимпатичны.

Всплеск подобного словотворчества становится предметом шуток. На карикатуре В. Антоновского, нарисованной в 1917 г., разыгрывается следующий диалог:

– Скажите, вы пианист?
– Нет-с. Я сочувствующий[131].

Суффиксы *-ист* и *-изм* проявили удивительную способность прилипать к исконно русским основам. Уже в начале прошлого столетия от полностью русских по происхождению и морфологии слов *большевик* и *меньшевик* образовались *большевизм* и *меньшевизм*. К середине XX в. продуктивность этих суффиксов почувствовали дети:

> С сыном Эдиком мы приехали в Вильнюс. Это было в 1947 году. Тогда у вокзала стояло много извозчиков. В Ленинграде их уже давно не было, и Эдик никогда их не видел. Он знал, что на свете существуют велосипедисты, таксисты, танкисты, но названия “извозчик” не знал.
>
> Указав на дрожки, он с восторгом воскликнул:
>
> – Смотри, папа, лошадист поехал![132]

Вероятно, многие узнали письмо читателя К. И. Чуковскому, приведенное в книге “От двух до пяти”. А вот когда дочь Чуковского Лидия в то же самое время столкнулась с аналогичным словотворчеством взрослых, у нее это умиления не вызвало:

> Не примечательно ли: ярые гонители низкопоклонства перед гниющим Западом словечка не способны сказать на родном языке? Живого русского языка они не знают, не чувствуют; вводить в него иностранные слова в соответствии со складом и ладом русского (как умеет только народ и поэт) – они не умеют; по-русски они умеют только ругаться. Перечитайте их циркуляры, постановления, доклады, рецензии – слов без приставки *а* или *анти*, без окончания *изм* или *ист* для них просто нет. Попалось им на язык русское слово “наплевать” – они сотворили из него “наплевизм”[133].

Речь шла о кампании против Зощенко, в чей адрес кто-то (нам не удалось установить, кого цитирует Чуковская) бросил слово *наплевизм*.

К сожалению, автору знаменитой книги по стилистике русского языка “В лаборатории редактора” случалось ошибаться в своих оценках. Один раз Чуковская промахнулась по-крупному: в 1996 г. она объявила безграмотным согласование по женскому роду слова *врач*[134], хотя согласование типа *моя врач сказала* к тому времени уже лет двадцать как устоялось и стало

общеупотребительным. Со словом *наплевизм* оплошность предсказания вышла помельче: оно не вошло в широкий обиход, но все же было подхвачено некоторыми авторами, совершенно далекими от воинствующей советской идеологии: оно встречается, например, в “Острове Крым” В. П. Аксенова (1979). Совсем уж неожиданное откровение выдает Национальный корпус русского языка: слово *наплевизм*, похоже, без всякой иронии употреблял известный философ А. Ф. Лосев в беседах с В. В. Бибихиным в начале 1970-х гг. Между тем трудно себе представить человека, чьи убеждения были бы более несовместимы с официозной советской идеологией, чем Лосев. И ни Аксенова, ни Лосева невозможно упрекнуть в невладении русским языком. Есть, выходит, в слове *наплевизм* что-то коммуникативно значимое, что приглянулось этим авторам.

Итак, в середине XX в. словотворческие опыты по присоединению русских корней к суффиксам *-ист* и *-изм* либо умиляли, либо раздражали, но в любом случае воспринимались как окказиональная нелепица, а не норма языка. Исключения типа *большевизма* оставались редкими. В 1970-е гг. появляются признаки того, что ситуация меняется. А в XXI в. такие слова начинают входить в профессиональные жаргоны. Блюстителей чистоты русского языка может возмущать слово *бровист*, но в парикмахерской среде оно, по-видимому, уже устоялось. А ведь и правда, как называть специалиста по выщипыванию и окраске бровей? *Броводел*? Громоздко и не слишком благозвучно… Суффиксы *-ист* и *-изм* продолжают жить собственной жизнью и развиваться в русском языке.

Как же все-таки они работают? Почему у нас есть *оптимизм* и *оптимист*, но нет **таксизма* в пару к *таксисту*? И почему качество *артиста* – не **артизм*, а *артистизм*? Да и **бровизма* пока что не наблюдается, пусть *бровистов* и приглашают на работу объявления… Пора раскрыть эту тайну: все дело в логическом порядке словообразования. *Оптимист, монархист, марксист, буддист* образованы от слов *оптимизм, монархизм, марксизм, буддизм. Оптимизм* образовано от латинского *optimus* “лучший” и означает “вера в лучшее”, а *оптимист* – соответственно, “тот, кто придерживается этих убеждений”. *Буддизм* образован от имени Будды: “религия Будды”; *буддист*, соответственно, адепт этой религии. Но *пианист* из анекдота 1917 г. – вовсе не сторонник **пианизма*, а исполнитель музыки на *пианино. Таксист* – тоже не приверженец **таксизма*, а человек, управляющий *такси. Футболист* занимается не **футболизмом*, а *футболом*. Их названия образованы напрямую от слов *пианино, такси* и *футбол*. Исключение – *активизм*, видимо, потому, что

этот род деятельности неразрывно связан с наличием каких-то определенных убеждений.

Становится наконец понятна аномалия слова *артистизм*: в русском языке нет слова **арт*, разве что в составе искусствоведческих терминов типа *арт-объект, арт-бизнес*. *Артистизм* – это не деятельность, которой занимается *артист*, а свойство *артиста*, потому это слово и образовано не от основы *арт-*, а от основы *артист-*. Так же, как *аристократизм* – свойство *аристократа*.

Итак, русский язык по каким-то причинам запрещает применять суффикс *-изм* к профессиональной деятельности, хотя суффикс *-ист* для названий профессий активно используется. Когда же нам нужно образовать название именно профессиональной области, мы используем сложную комбинацию морфем *-истика: журналистика, флористика, аквариумистика, логистика, лингвистика*. В ней два суффикса – помимо уже знакомого нам *-ист*, там присутствует греко-латинский по происхождению суффикс *-ик*, – и русское окончание *-а*. Как уже упоминалось, в других языках это правило не всегда работает так жестко: по-английски, например, нормально говорить *journalism*, но к отраслям науки в английском суффикс *-ism* тоже не применяется. *Лингвистика* так и будет по-английски *linguistics*.

Специфически работает эта пара суффиксов в медицине. Когда речь идет о телесных недугах, то в одиночку выступает суффикс *-изм*: есть *метеоризм, эрготизм*, но нет **метеориста* и **эрготиста*. А вот в психологии, психиатрии и сексологии такие пары еще недавно были нормой: *аутизм – аутист, онанизм – онанист, гомосексуализм – гомосексуалист*. Соответствующая терминология употреблялась во многих европейских языках. В наше время эта система терминологии разрушается: термин *онанизм* устарел, поскольку вытеснен словом *мастурбация*, а само это поведение больше не считается признаком психического расстройства, поэтому ушло и слово *онанист*. Спорными стали слова *гомосексуализм* и *гомосексуалист*, взамен которых предлагают *гомосексуальность* и *гомосексуал* – суффиксы *-изм* и *-ист* считаются негативно маркированными.

Интересно, что сам факт дискуссий вокруг этих терминов подсвечивает коннотации суффикса *-ист*: он очень сильно ассоциируется со свободой воли. Профессия, религия или система убеждений – это то, что люди выбирают сами. Вот почему у нас нет **метеориста* и **эрготиста*: любому ясно, что расстройство кишечника или отравление спорыньей происходит не по нашему желанию. Но в медицинских представлениях о психике и сексуальности исторически присутствовала подспудная идея, что

люди в силу какой-то своей зловредности или порока выбирают “неправильные” формы поведения (отчего и первые попытки лечения психических заболеваний очень напоминали наказания – вспомним судьбу гоголевского Поприщина). Это отразилось в выборе суффикса *-ист* (конечно, и в этом значении заимствованного из западноевропейских языков). Вот откуда смутное ощущение “оскорбительности” этого суффикса применительно к особенностям психики и сексуальности. Слово *аутист* пока еще не получило общепринятой негативной окраски, однако все больше вытесняется в разговорную сферу, в научной и научно-популярной литературе предпочитают употреблять словосочетания *аутичные люди* (ср. англ. *autistic people*) или *люди с РАС* (РАС – аббревиатура от *расстройство аутического спектра*).

А вот в лингвистике суффикс *-изм* процветает, и это единственная область терминологии, в которой у слов на *-изм* есть множественное число. Мы говорим о *диалектизмах, галлицизмах, жаргонизмах, варваризмах*, а английский лингвист упомянет *colloquialisms* (“разговорные слова”). Причем это очень старое употребление суффикса. Вспомним Пушкина:

> Раскаяться во мне нет силы,
> Мне галлицизмы будут милы,
> Как прошлой юности грехи,
> Как Богдановича стихи.
>
> *(“Евгений Онегин”, III: XXIX)*

Интересно, что и в этом случае *галлицизмы, варваризмы* и *диалектизмы* есть, а *галлицистов, варваристов* и *диалектистов* нет. Хотя – внимание! – люди, которых можно было бы так называть, существуют: писатели, которые сознательно используют эти языковые явления как приемы. Игоря Северянина вполне можно было бы называть *галлицистом*, а Н. С. Лескова *диалектистом*. Ан нет, не называем. И не случайно: в лингвистике бытует негласная презумпция, что язык существует помимо воли отдельных людей, сколь угодно гениальных[135], и вообще, язык – отдельно, а литература – отдельно, ею пусть занимаются литературоведы. Впрочем, и тут нет правила без исключения: у нас есть *афоризмы* и сочиняющие их *афористы*. Чем обусловлено это исключение? А тем, что *афоризм* одновременно и явление языка, и литературный жанр. Ведь авторы, пишущие в определенных жанрах, очень даже могут называться словами с суффиксом *-ист: сонетист, романист*. Вот какая тонкость: когда речь идет о жанре, суффикс *-ист* возможен

(*романист*), когда о литературном направлении или школе, то тоже возможен (*футурист*), а когда о языке – он почему-то работать отказывается.

Итак, мы видим, что суффиксы, заимствованные из греческого, прочно вросли во многие современные языки, включая русский, и образовали там сложную систему значений, подчиняющуюся далеко не очевидным правилам. Это нормальное "поведение" продуктивной морфемы. Бывают, однако, более странные случаи путешествия суффикса из языка в язык. Возьмем такое слово, как *битник*. Для любого носителя русского языка в нем очевиден суффикс *-ник*. Но это слово не образовано в русском языке от слова *бит* (ни в компьютерном, ни в музыкальном значении), а целиком заимствовано из английского – *beatnik*.

Слово *beatnik* имеет точную дату рождения – 2 февраля 1958 г., когда его использовал в своей колонке Герб Кейн, журналист газеты "Сан-Франциско кроникл". Оно образовано от слова *beat* – разговорной формы причастия *beaten*, "разбитый, побитый", которое имеет целый спектр переносных значений: от крушения надежд до состояния наркотического опьянения. По наитию Кейн присоединил к нему русский суффикс *-ник* по аналогии со словом *спутник* (англ. *sputnik*). Напомним, что всего за четыре месяца до выхода статьи Кейна произошло эпохальное событие – запуск СССР первого искусственного спутника Земли. Вообще говоря, спутник по-английски *satellite*, но нашему первому спутнику его создатели не позаботились придумать название, и он назывался попросту "Спутник-1". Поэтому русское слово *спутник* прозвучало в иностранной печати в качестве имени собственного и очень быстро запомнилось.

Весьма сомнительно, что Кейн знал русский язык и самостоятельно выделил этот суффикс. Однако англоязычный мир был отчасти знаком с этим суффиксом – в литературе о России встречались слова *kolkhoznik, oprichnik, narodnik, subbotnik* и т. д.; в эмигрантской среде еще до запуска спутника зафиксированы образованные от английских корней *stuck-upnik* (букв. "застряльник", от *stick up* "застревать") и *nogoodnik* (переосмысленное на английский лад *негодник*). Поэтому запуск спутника 4 октября 1957 г. спровоцировал бурную волну игры с русским суффиксом *-ник*. Как пишут авторы одной статьи об этом суффиксе, в английском языке он пребывал в "спящем" (dormant) состоянии до 1957 г., а потом активизировался[136]. Конечно, по-настоящему продуктивным в английском языке он не стал, то есть не породил нормативный способ словообразования. Зато, когда слово *битник* попало в русский язык, суффикс *-ник* был радостно встречен на родине. Для русского слуха заимствованное

из английского слово *битник* ничем не отличается по структуре от знакомых слов типа *школьник, странник, неудачник*. Иностранное происхождение слова как бы не ощущается. Совершив круг, суффикс *-ник* вернулся на родину.

Нелегка жизнь заимствованного суффикса в языке, зато насколько увлекательна! Пожалуй, мы даже чрезмерно увлеклись историей суффиксов. Пора поговорить о другой части слова – приставке.

# 3. Приставки

Несомненно, первое место в рейтинге заимствованных приставок должно принадлежать приставке *супер-*. В кино мы видим *супергероев*, которые иногда образуют *суперсемейку*, в новостях читаем о *суперкомпьютерах*, а магазины делают нам *суперпредложения* по *суперценам*. Поиск в "Яндексе" дал даже *супертабак* и *супертуалет*! Большинство этих слов не получило признания лексикографов и, скорее всего, так и останется в статусе окказионализмов. Однако само их количество говорит о том, что приставка *супер–* в русском языке продуктивна, популярна и общепонятна.

Хотя стоп… так ли уж понятна? Что она означает и откуда заимствована?

На этом месте у многих возникнет искушение ответить "из английского". И в историческом смысле это, в общем-то, верно: активным словообразованием на *супер–* мы обязаны английскому языку, в котором уже не только герои, но и еда стала *супер–* (*superfood*, в Рунете уже встречается варваризм *суперфуд*, хотя правильнее говорить *суперпродукт, супер-еда* или *суперпища* – ведь в русском языке нет просто **фуда*). Но в английском эта приставка далеко не родная – она заимствована из латыни, причем сравнительно недавно, уже в Новое время. До XX в. она употреблялась только в книжной речи, преимущественно в научных и философских терминах – таких как *superposition* "суперпозиция" (изначально – "перекрывание" в геологии) или *supernatural* "сверхъестественное". По-латыни *super-* и значит "над-" или "сверх-", как в значении положения наверху (*superimponere* "класть сверху"), так и в значении избытка, излишка (*superfluus* "переливающийся через край").

Но, когда мы видим объявление о распродаже по *суперценам*, вряд ли его авторы хотят сказать, что цены очень высокие – наоборот, имеется в виду снижение цен, по смыслу прямо противоположное. Что это, безграмотность или изменение семантики? В разговорной речи приставка *супер-* обретает самостоятельную жизнь, она становится наречием – *супер* или даже *суперски*. В этих случаях уж точно не имеется в виду "над-" или "сверх-": любому интуитивно понятно, что подразумевается нечто вроде "очень хорошо, отлично".

Как же значение приставки *супер-* сместилось в эту сторону? Некоторый потенциал такого изменения смысла содержался уже в латыни: эта приставка могла иметь усилительное значение, например, *supergloriosus* "преславный"; был и корень *super-*, от

которого образовывались слова *superus* “высший, небесный”, *superior* “расположенный вверху, предыдущий” – но также “превосходящий, более знатный”. Но в английском распространение этого суффикса в значении похвалы, по-видимому, связано с фигурой Супермена – известного героя комиксов.

У Супермена была нелегкая история. Впервые этот персонаж появился в 1933 г. в рассказе “Царство Супермена”. Рассказ был написан Джерри Зигелем и проиллюстрирован Джозефом Шустером – будущими соавторами комиксов о Супермене. Изначально персонаж был задуман как отрицательный, а тема обретения сверхспособностей изображалась с глубоким сарказмом – это была история “маленького человека”, который по воле случая обратился в злодея, жаждущего власти над миром. Общественно-политический контекст появления этого рассказа не оставляет сомнения в том, что это памфлет против нацизма. Оба соавтора были выходцами из семей еврейских иммигрантов в США, и обоих тревожила атмосфера в Европе того времени. Слово *superman* к тому времени уже вошло в английский язык благодаря переводам Ницше – да-да, это не что иное, как ницшеанский “сверхчеловек”, или *Übermensch*. Справедливости ради, стоит сказать, что Ницше не вкладывал в понятие “сверхчеловека” расового смысла и, при всей спорности его взглядов, до конца жизни питал неприязнь к антисемитизму и немецкому национализму. Присвоение наследия Ницше нацистами стало возможным благодаря его сестре Элизабет, вышедшей замуж за националиста и антисемита Бернхарда Ферстера, а на старости лет вступившей в НСДАП. На момент публикации рассказа “Царство Супермена” Элизабет Ферстер была жива и состояла в партии национал-социалистов уже третий год, а до прихода к власти Гитлера оставались считаные месяцы.

Рассказ оказался пророческим, но на тот момент антинацистская тема не произвела особого впечатления на издателей. Когда Зигель и Шустер попытались продолжить историю Супермена в виде серии комиксов, им сказали, что их идея недостаточно сенсационна и коммерческий успех ей не светит. Соавторы работали еще пять лет, прежде чем наконец выпустили в свет нового Супермена – уже не имевшего ничего общего со злодеем из рассказа. В новой версии 1938 г. Супермен стал положительным персонажем и приобрел свой знаменитый красно-синий костюм, в котором он будет появляться в бесчисленных экранизациях. А когда началась война, он предстал в роли борца против нацистов. Так первоначальная идея развернулась на 180 градусов.

Уже вскоре после выхода комиксов начинают появляться пародии и подражания – такие как “Суперкролик” (*Super-Rabbit*, мультфильм 1943 г.) или “Супердевочка” (*Supergirl*, комикс 1959 г., сейчас его больше помнят по фильму 1984 г.). В спорте с 1967 г. вводится *Суперкубок* (*Super Bowl*). С 1970-х гг. в широкий обиход входит слово *суперзвезда* (*superstar*) – вероятно, благодаря вышедшей в 1970 г. рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера “Иисус Христос – суперзвезда” (*Jesus Christ Superstar*), хотя, по некоторым ненадежным сведениям, слово *superstar* встречалось еще в первой четверти XX в. Это лишь немногие примеры продуктивности приставки *super-* в английском языке с середины XX в. По-видимому, в это время приставка *super-* и приобретает обиходное толкование “очень хороший, отличный”. Любопытно, что еще в 1980-е гг. Merriam-Webster, самый авторитетный словарь американского английского, кодифицировал это значение, однако, по мнению составителей словаря, *super* в значении “хороший” является не приставкой, а прилагательным, и его следует писать отдельно[137]. К тому времени приставка уже перелетела через Атлантику и зажила собственной жизнью в русском языке: не позднее 1989 г. мне довелось услышать в речи своих одноклассников слова наподобие *супержвачка*.

Вот так приставка *super-* стала обозначением высшего качества и выражением восторга, а образ Супермена, изначально

задуманный как злая карикатура на нацизм, стал олицетворением сил добра и оказался разведен по смыслу с немецким *Übermensch*. Само слово *супермен* в качестве нарицательного попало в русский и немецкий языки именно потому, что слова *сверхчеловек* и *Übermensch* были перегружены мрачными коннотациями нацизма, которых лишено английское слово. Более того, немцы переводят английское слово *superhero* “супергерой” как *Superheld* – то есть корень переведен с английского на немецкий, а приставка остается непереведенной, заимствованной.

Впрочем, немецкая приставка *Über-* тоже в некотором роде нашла пристанище в английском – в американском английском последней четверти XX в., когда неприятные ассоциации с нацизмом потускнели, она стала шуточной заменой приставки *super-*, а в наше время дала название известному мобильному приложению для заказов такси[138]. Правда, при этом ей пришлось потерять умляут – английский язык не любит надстрочных знаков.

Думаю, читатели вспомнят и другие примеры заимствованных приставок, восходящих к латыни и греческому: *а-*, *анти-*, *дис-*. Их судьбы не столь причудливы, как судьба приставки *супер-*, поскольку они чаще всего связаны с интернациональной лексикой греческого и латинского происхождения – книжными терминами из области науки и политики, которые во многих европейских языках похожи. Остановимся лишь на одном любопытном случае, когда выбор заимствованной приставки – что бывает нечасто – в разных языках оказался различным.

Речь идет о слове *антиутопия*. Вероятно, некоторым из вас известно, что по-английски этот жанр литературы и кино называется *dystopia*. Англичане не одиноки: по-немецки это слово звучит как *Dystopie*, по-французски – *dystopie*, по-фински – *dystopia*, по-итальянски – *distopia*. А вот жители Восточной Европы разделились даже в пределах родственных языковых ветвей: для болгар это *антиутопия*, как и для нас, но для сербов – *дистопија*; по-польски *dystopia*, но по-словацки *antiutópia*. Почему так произошло?

Вспомним, что это слово – антоним к *утопии*, слову, изобретенному Томасом Мором в начале XVI в. Одноименный философский трактат Мора был написан на латыни и после смерти мыслителя переведен на английский его родственником. И в латинском, и в английском текстах название вымышленной идеальной страны выглядит как *Utopia*. В этом слове несложно выделить греческий корень *top-* от *tópos* “место” (ср. *топоним, топография*). А вот что такое *и-*? В греческом нет такой

приставки; Мор мог иметь в виду либо *ou-* (отрицательная приставка), либо *eu–* (приставка со значением “хороший, правильный”). В России принято первое толкование: *утопия* – “место, которого не существует”. Но соотечественники Мора расходятся в понимании этого слова. Известный социолог и политический философ Джон Стюарт Милль в своей парламентской речи 1868 г. явно толкует *u-* как греческое *eu-*:

> Возможно, утописты – слишком лестное название для них [правительства], вернее было бы называть их дис-топистами или како-топистами. Утопическим обычно называют то, что слишком хорошо для применения на практике, но то, к чему они, похоже, склоняются, слишком плохо для применения на практике[139].

Вариант *cacotopia* (от греческого *kakós* “плохой”, ср. наше *какофония*) был предложен еще в 1818 г. другим политическим мыслителем – Иеремией Бентамом. В конце концов победил в английском языке все же вариант *dystopia*, распространившийся затем в другие западноевропейские языки. Но, например, во французском сохранилось колебание между *dystopie* и *anti-utopie*, что даже породило некоторую литературоведческую путаницу (есть мнение, что это разные понятия).

Чем обусловлено это колебание? Думается, представлением о том, как членится слово *утопия.* Если в нем выделяется корень *-топ-* со значением “место”, то к нему присоединяется приставка *дис–* с негативно окрашенным значением. Если же мы рассматриваем слово *утопия* как неделимое, то к нему присоединяется приставка *анти-*, что дает значение “нечто противоположное утопии”.

Членение заимствованных слов нередко бывает проблематичным. Здесь уже приводился пример со словом *артист*: в нем явно выделяется суффикс *-ист*, но в русском языке нет слова *арт* как такового. Есть *фашист, фашизм* и *антифашист, антифашизм*, но нет никакого **фаша*, хотя из структуры слова следует, что выделяться должен этот корень. Есть *антиподы*, но нет **подов*. С другой стороны, у нас есть такие совершенно внятные случаи, как *журнал – журналист, флора – флорист, политика – аполитичный, комфорт – дискомфорт, коммуна – коммунист – антикоммунист*. Здесь членение слова сомнению не подлежит.

А бывает и так, что все части слова свои, исконные, и тем не менее слово заимствовано. Как такое возможно? Об этом будет рассказано в следующей главе.

# 11. Очарованная личность не в силах сосредоточиться

Возможно, читатель уже обратил внимание на то, что до сих пор мы не затрагивали излюбленную тему филологических обсуждений – кальки. В классическом учебнике Розенталя калькам посвящен целый параграф. Вот определение, которым он открывается:

> Одним из способов заимствования является калькирование, т. е. построение лексических единиц по образцу соответствующих слов иностранного языка путем точного перевода их значимых частей или заимствование отдельных значений слов. Соответственно различают кальки лексические и семантические[140].

Среди примеров калькирования, которые дает Розенталь, – *водород*. Русское название этого химического элемента буквально переведено с французского *hydrogène* – слова, изобретенного в 1783 г. Антуаном Лавуазье. Французский химик, в свою очередь, построил это название по модели им же придуманного *oxygène* – “кислород”. История открытия кислорода весьма живо описана в стихотворении Ефима Ефимовского 1984 г., которое вы могли читать в детстве:

> Та история простая…
> Джозеф Пристли как-то раз
> Окись ртути нагревая,
> Обнаружил странный газ.
> Газ без цвета, без названья.
> Ярче в нем горит свеча.
> А не вреден для дыханья?
> (Не узнаешь у врача!)
> Новый газ из колбы вышел,
> Никому он не знаком.
> Этим газом дышат мыши
> Под стеклянным колпаком.

Описанные события происходили в 1774 г. В тот же год Пристли поехал во Францию к Лавуазье обсуждать свое открытие. Французский коллега продолжил эксперименты Пристли и подтвердил, что речь идет о составном компоненте воздуха. К

1777 г. он придумал для него название – *oxygène.* Сам Лавуазье составил это слово из двух греческих корней – *oxýs* “кислый” (ср. наше *уксус*) и *génos* “род”. То есть во французском это тоже заимствование, хотя и прямое. “Кислым” новооткрытый газ оказался из-за ошибки Лавуазье – ученый решил, что это вещество входит в состав всех кислот. На самом деле кислый вкус кислотам сообщают ионы водорода, описанного Лавуазье несколько лет спустя. По аналогии с *oxygène* он назвал его *hydrogène* – думаю, перевод не требуется: даже те из нас, кто не владеет греческим, знают, куда полагается залезать в *гидрокостюме*!

Англичане, очевидно, в знак признательности Лавуазье, сохранили его термины, слегка переиначив на английский лад (*oxygen, hydrogen* – с ударением на первом слоге), а вот немцы и русские предпочли перевести. По-немецки они звучат как *Sauerstoff, Wasserstoff* – букв. “кислое вещество”, “водяное вещество”. Мы видим, что у немцев перевод более вольный – “род” оказался потерян, тогда как русское слово воспроизводит оба компонента буквально.

Как устроен этот тип заимствований? При ближайшем рассмотрении очевидно, что не так, как те, что мы рассматривали в предыдущих главах. Заимствуется не само слово и даже не отдельные его части – используется лишь словообразовательная модель. Кальки поэтому нельзя отнести к настоящим лексическим заимствованиям, и слова типа *водород* точнее называть морфологическими кальками, а не лексическими.

хмарочос
небоскрёб
skyscraper
gratte-ciel
rascacielos

# 1. Морфологические, или словообразовательные, кальки

Этот тип заимствований очень древний и характерен главным образом для книжной речи. Отличный материал для изучения таких калек – переводы Библии и раннехристианской литературы. Так, церковнославянский язык изобилует кальками с греческого: *богословъ* (*theológos*), *Богородица* (*theotókos*), *богоносьць* (*theophóros*), *благочьстие* (*eusébeia*), *живописьць* (*zográphos*), *сребролюбие* (*philargyría*), *кумирослужение* (*eidōlolatréia*), *человѣколюбие* (*philanthropía*) и т. д. Многие из них прижились в литературном русском языке и сохранились до наших дней.

С петровской эпохи популярность калькирования начинает снижаться, русский язык все чаще идет по пути прямых заимствований. Но и в это время кальки не перестают появляться – например, в географических названиях. Так, *Средиземное море* в древнерусскую эпоху называлось Великим. Нынешнее название – калька с латинского *mare Mediterraneum*. Немцы тоже в этом случае используют кальку – *Mittelländisches Meer* (ныне чаще *Mittelmeer*). Особая волна калек приходится на вторую половину XVIII в., когда в России складывается язык фундаментальных наук, светской философии и художественной литературы. Многие слова, вошедшие тогда в обиход, приписывают авторству конкретных людей: например, *предмет* (калька с лат. *objectus*) – М. В. Ломоносову, *личность* (с франц. *personnalité* или английского *personality*) – Н. М. Карамзину.

Проверить, действительно ли то или иное слово имеет автора, непросто. В этимологических словарях кальки не фигурируют, а составители учебников не ссылаются на первоисточники. Так, например, слово *личность*, судя по данным Национального корпуса русского языка, действительно вошло в употребление при жизни Карамзина, но означало чаще всего совсем не то, что в наши дни, – его основным значением было “личный выпад”, то, что мы сейчас называем *переходом на личности*. А Карамзин действительно один из первых, кто использовал это слово в современном значении: “Чувство бытия, личность, душа…” – в “Письмах русского путешественника” (1793), но там же он применяет его и в старом смысле. Примерно в то же время слово *личность* в привычном нам значении употребил А. Н. Радищев в эссе “О человеке, его смертности и о бессмертии”: “Где же будет память твоя? Где будет прежний ты, где твоя особенность, где личность?” Но изобрел ли Карамзин

слово *личность*, сказать трудно. Нам хочется, чтобы у языковых инноваций был автор, творец. Это отвечает сразу двум мифам – во-первых, представлению о роли великих людей в истории, во-вторых, представлению о том, что язык находится под нашим контролем и мы управляем его развитием.

Вне зависимости от того, есть ли автор-гений у слов *личность, влюбленный/влюбиться, нравственность, впечатление, влияние, сосредоточить*, эти слова настолько прочно утвердились в русском языке, что кажется, будто они были всегда. На самом деле все это исторически недавние кальки с французских слов: *personnalité, énamouré/énamourer, moralité, impression, influence, concentrer*. Вряд ли старше их популярное ныне слово *духовность*: как ни удивительно, древнерусский язык его не знал. Как раз у этого слова автор, вероятно, есть – оно впервые появляется в начале 1750-х гг. в философских сочинениях В. К. Тредиаковского и в его употреблении означает “нематериальность” как свойство Бога[141]. В своих эссе Тредиаковский активно экспериментировал с переводами философской лексики методом калькирования, поясняя терминологию на нескольких языках – латыни, греческом и французском. Хотя к слову *духовность* пояснения он не дает, весьма похоже, что и оно сконструировано Тредиаковским. Для XVIII в. примеры из Тредиаковского – единственные, которые нам известны. В общее употребление это слово входит только со второй трети XIX в. и тогда же приобретает современное значение, а по-настоящему популярным становится лишь с 1880-х гг.

Что за чудеса – слово *духовный* в русском языке было как минимум с XI в., а слово *духовность* от него додумались образовать только много веков спустя? Не станем томить читателя: это калька с французского *spiritualité*, существовавшего еще в эпоху Возрождения. А оно, в свою очередь, калькировано со средневекового латинского *spiritualitas*. Аналогичным способом образовано слово *нравственность* – от французского *moralité*, которое восходит к латинскому *mores* “нравы”.

Эту группу русских калек второй половины XVIII в. отличает характерная особенность: многие из них обозначают абстрактные понятия. Как раз в это время в Россию проникают светская литература и философия европейского Просвещения. Столкнувшись с языковой традицией, непрерывно развивавшейся со времен Античности, русские переводчики почувствовали, что им катастрофически не хватает лексики, – и принялись разрабатывать собственный понятийный аппарат. Задача была в конечном итоге решена блестяще.

Важную роль кальки сыграли и в науке, только там

источником был не французский язык, а латинский или немецкий. Например, обыкновенное слово *насекомое* – не что иное, как калька с латинского *insectum*, от *in-* (латынь не различает значения “в” и “на”) + *sectum*, причастие среднего рода от глагола *secare* “резать”. То есть *насекомое* – значит покрытое *насечками* (такое впечатление производит естественная сегментация тельца насекомого). В современном русском языке это слово не только перестало быть чисто научным термином, но и во многом утратило смысловую прозрачность. Непросто опознать в нем кальку без специальной подготовки.

Мода на морфологические кальки в русском языке переживала подъемы и спады, но полностью их приток никогда не прекращался[142]. Например, в XIX в. к нам приходят *взаимодействие* (нем. *Wechselwirkung*) и *всесторонний* (нем. *allseitig*), с начала XX в. – *небоскреб* (англ. *skyscraper*). Последнее слово оказалось чемпионом по калькированию. Практически во всех языках оно не заимствовано из английского, а переведено буквально или почти буквально: нем. *Wolkenkratzer*, франц. *gratte-ciel*, исп. *rascacielos*, греч. *ouranoxýstis*, укр. *хмарочос*. В ряде случаев первый элемент взят со значением “облако”, а не “небо”; в языках Юго-Восточной Азии, напротив, меняется второй элемент – там предпочитают не “скрести” небо, а “целовать”. Однако конструкция остается неизменной.

Из примеров с *небоскребом* и *водородом* видно, что морфологические кальки используются отнюдь не только в русском языке. Развитая традиция калькирования бытует в немецком. Мы уже приводили примеры с *водородом* и *кислородом*. Среди более современных примеров – *Fernsehen* “телевидение” (от *fern* “дальний” и *sehen* “видеть”) и *Fernsprecher* “телефон” (то же + *sprechen* “говорить”). Здесь тоже переведены по отдельности греческие и латинские корни слов: *tele-* “дальний”, – *visio-* “зрение”, – *phōn-* “звук”.

Еще более активно калькирование применяется в исландском. Причиной тому языковая политика Исландии, о которой рассказывалось в главе 1. Всем, кто читал лесковского “Левшу”, памятно слово *мелкоскоп* – шуточный полуперевод *микроскопа*. Лесков, вероятно, был бы в восторге, знай он, что исландцы называют микроскоп *smásjá* – от *smár* “маленький” и *sjá* “смотреть”. *Биология* по-исландски *líffræði*, от *líf* “жизнь” и *fræði* “знание”, что, собственно, неудивительно – ведь греческие компоненты этого слова значат то же самое. Соответственно *геология* – *jarðfræði* (*jörð* – “земля”, с перегласовкой), *география* – *landafræði*: исландцы предпочли не делать различие между *-логией* и *-графией*, зато уточнили первый компонент, который означает

“землю” в смысле “страны”, тогда как *jörð* – это “земля” в смысле “планета”. *Баскетбол* по-исландски *körfubolti*, от *karfa* “корзина” (англ. *basket*) и *bolti* “мяч” (англ. *ball*). И тому подобное. Потому, кстати, убежденность исландцев, будто они успешно оберегают свой язык от иностранной экспансии, безосновательна. С точки зрения языкознания морфологические кальки – самые настоящие заимствования, просто другого типа, не лексического.

Одна из самых любопытных историй, связанных с морфологическими кальками, стоит за словом *новояз*. В наши дни оно закрепилось в публицистике и даже дало заглавие книге Б. М. Сарнова – “Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма” (М.: Материк, 2002). Как известно, оно позаимствовано из романа британского писателя Джорджа Оруэлла “1984” (стоящая в заглавии дата – анаграмма года, когда был написан роман, 1948). Разумеется, *новояз* – перевод-калька, в оригинале у Оруэлла *newspeak*. Оруэлл дает целый ряд слов из *newspeak*, выдуманного языка государственной пропаганды будущего, и во многих из этих слов просматривается общий принцип – двусоставность:

> *doublethink – двоемыслие*
> *Ingsoc – Англсоц* (сокращение от *английский социализм*)
> *crimethink – преступмысль* (в другом переводе – *мыслепреступление*)
> *duckspeak – уткоречь* (в другом переводе – *речекряк*)
> *Minitrue – Миниправ* (сокращение от *Министерство правды*)
> *Miniluv – Минилюб* (сокращение от *Министерство любви*)[143]

Все эти слова Оруэлл выдумал сам. Однако принцип, по которому они построены, им не выдуман, а заимствован из… русского. Оруэлл опирался на словообразовательные инновации 1920-х гг., так раздражавшие русских эмигрантов: *Коминтерн, колхоз, райком, нарком, полпред, продмаг.* На самом деле этот тип сокращений не изобретен большевиками – подобные комбинации возникли еще в Первую мировую войну, например, *командарм*[144]. Но из-за бурного распространения этого новшества в послереволюционное время оно стало автоматически ассоциироваться с политикой большевиков.

Что же специфичного в этих словах и чем они отличаются от двусоставных слов старого времени, типа *благолепие* или *броненосец*? То, что они образованы с усечением основ и даже корней, причем усечение производится, так сказать, по живому –

без оглядки на границы морфем в исходных словах. Например, *нарком* произведено от *народный комиссар*, но *нар-* не корень – ведь в слове *народ* очевидный корень *-род* с приставкой *на-*. А в слове *полпред* – от *полномочный представитель* – роль второго "корня" играет приставка. Неудивительно, что такое словообразование казалось дореволюционной интеллигенции безграмотным. В 1946 г. *наркоматы* переименовали на старый лад в *министерства*, однако мода на сокращения уже утвердилась, и у нас появились *Минкульт, Минздрав* и т. д.

По-английски во многих случаях это усечение непереводимо, поскольку значительную часть английской лексики составляют чистые односложные корни. Слова типа *newspeak* и *doublethink* по-английски выглядят хоть и непривычно, но не экзотично (ср. *football*). Однако с Ангсоцем и министерствами у Оруэлла получилось на славу. Можно задаться вопросом, почему Оруэлл не скопировал русский способ сокращения слова *министерство* – надо бы не *Minitrue*, а *Mintrue*. Видимо, причины в том, что вариант *mini-* смешнее, ибо ассоциируется с миниатюрностью. Когда благодаря отмене идеологической цензуры роман Оруэлла стало возможно опубликовать у нас, переводчики встретили его *newspeak* как старого знакомого. Неологизмы Оруэлла не только отлично переводятся на русский, но даже обогатили лексикон русского языка – слова *новояз* и *двоемыслие* прочно вошли в употребление. Придирчивый лингвист, правда, отметит, что *двоемыслие* образовано не по новой советской, а по старой русской модели – по образцу *двоеверия* и *двоедушия*. А вот *новояз* вполне соответствует тому типу словообразования, который подразумевается у Оруэлла. Оказывается, побывать на чужбине и вернуться кружным путем на родину могут не только слова (*пистолет*) и даже не только части слов (суффикс *-ник* в слове *битник*), но и словообразовательные модели[145].

## 2. Семантические кальки

Так называются случаи, когда исконное слово языка приобретает новое значение под влиянием иностранного. Старые учебники по этому поводу вспоминают слово *картина* в значении "кинофильм" – в русском языке это калька с английского *picture*. Но мы-то живем в XXI в. Достаточно протянуть руку и нащупать *компьютерную мышь*. Слово *мышь* в обозначении этого предмета – прямой перевод английского *mouse*. Устройство получило это название потому, что провод, идущий от корпуса, напоминает хвост, хотя современные мыши часто бывают беспроводными. А когда вы выходите из программы, вы *закрываете окна*. Это тоже прямой перевод с английского – *close windows*. Ни слово *мышь*, ни слово *окно* в русском языке не имели значений, связанных с компьютерами, до того как компьютерными терминами стали их английские эквиваленты. Немцы тоже назвали это устройство *Maus*, французы – *souris*, финны – *hiiri*, греки – *pontíki*: все это названия животного, на которое охотятся наши коты. А для португальцев она "крыса" – *rato* (бытовой португальский язык не различает мышь и крысу, первичное же значение корня *rat-* в романских языках именно "крыса"). Из английского, стало быть, заимствовано не само слово (в отличие, например, от слова *компьютер*), а лишь его новое значение.

Исландцы – как мы уже знаем, большие любители калькирования – передают понятие "машина" как *vél*. В древнеисландском оно обозначало "хитрость, прием, ухищрение". Почему было выбрано именно оно? Да потому, что таково было первоначальное значение латинского слова *machina*, от которого происходят наше *машина* и родственное ему французское *machine*. Следы этого значения сохранились в нашем слове *махинация*.

Конечно, без семантических калек не обошлась и наука. Например, наше *электрическое напряжение* – это калька с французского *tension électrique*, которое, в свою очередь, переделано на французский лад из итальянского *tensione elettrica*. Этот термин придумал в XVIII в. Алессандро Вольта. И французское слово *tension*, и русское слово *напряжение* существовали до открытия электричества – как термины механики и как обозначения человеческого состояния души или тела. Они приобрели новое значение вслед за итальянским словом. Так же поступили и немцы – они использовали слово *Spannung* с аналогичным значением. А вот англичане проявили оригинальность: по-английски, конечно, известно выражение *electric tension*, но общепринятым термином стало *voltage* –

название, понятное дело, образованное от фамилии самого автора открытия.

Когда мы говорим о *климатическом поясе*, то слово *пояс* – это калька с греческого слова *zṓnē*, первичное значение которого и есть “пояс” (хотя нам известна и *климатическая зона*: иногда выбор между калькой и прямым заимствованием – дело вкуса). Мелькающая в заголовках современной прессы *темная материя*, которая до сих пор будоражит умы астрономов, – калька с немецкого *Dunkle Materie*, названия, которое придумал швейцарец Фриц Цвики в 1933 г. Но в русский язык оно попало, очевидно, не напрямую из немецкого, а через посредство английской кальки – *dark matter*. Таким же образом лингвистика приобрела слово *союз*. Оно существовало еще в древнерусском языке[146], но означало только союз людей (у него было еще несколько устаревших ныне значений, таких как “связка чего-нибудь”, но ни одного, относящегося к частям речи, среди них не было). В Новое время это слово было переосмыслено по аналогии с латинским *conjunctio*, которое тоже этимологически обозначает “соединение, связывание”.

Ну и, чтобы окончательно не скатиться в занудство – история научных терминов к этому располагает, – расскажем про слово, на которое в наши дни обычно принято реагировать непроизвольным хихиканьем: *член*. Еще в 1968 г. словарь Ожегова признавал за ним общее значение “часть тела (чаще о конечностях[147])”, хотя в этом смысле оно уже тогда употреблялось редко и было невероятным архаизмом: поиск в

Национальном корпусе русского языка за 1950–1960-е гг. дал только примеры типа *член партии* или *член семьи*. Нынешнее его употребление – сокращение от медицинского термина *детородный член*, которое является калькой с латинского *membrum naturale*.

Конечно, это не та латынь, на которой разговаривали древние римляне в помпейских термах, – это стыдливый эвфемизм, придуманный средневековыми врачами. Несомненно, он был в учебниках, которыми пользовался Франсуа Рабле, потому что автор "Гаргантюа" в 6-й главе, где речь заходит о гульфике, использует французскую кальку с этого термина – *membre naturel* (в переводе Н. М. Любимова, соответственно, *детородный член*). Мой поиск в Google Books показал, что во французском это был легитимный медицинский термин вплоть до XVIII в., а затем он из употребления вышел – возможно, потому, что прилагательное *naturel* утратило значение "детородный" (французскому языку XIX–XX вв. оно уже неизвестно).

В древнерусском языке применительно к этой части тела использовались выражения *срамной удъ* или *тайный удъ*. Само по себе слово *удъ* обозначало "часть тела вообще", "конечность". А слово *члѣнъ* или *членъкъ*, по-видимому, указывало на отдельный сегмент конечности: в словаре Срезневского даются примеры наподобие *съвяза жилами простиратися удомъ по чьлѣномъ* ("связал жилами, чтобы конечности распрямлялись в суставах") или *удеса ему по членку рассѣдашася* ("его части тела распались на отдельные сегменты"). По-видимому, позже специализация утратилась, и слово *члѣнъ* в значении "часть тела вообще" вытеснило *удъ*. В послепетровскую эпоху, при становлении языка медицины, оно было задействовано, чтобы сконструировать кальку с латинского *membrum naturale*. Получился *детородный член*. Но вот беда – не только медики нуждались в новой терминологии. Бытовой язык, на котором общались люди, не планировавшие становиться врачами, испытывал острый дефицит приличных названий этого органа. *Тайный уд* был слишком архаичен, прочее же – не для воспитанного светского общества… Пришлось обратиться к языку медицины. Но конструкция была слишком громоздкой, и волей-неволей прилагательное отпало. Слово *член* становится эвфемизмом мужского полового органа само по себе. Уже у Пушкина в "Гавриилиаде" есть пример его употребления в современном значении:

> Уж ломит бес, уж ад в восторге плещет;
> Но, к счастию, проворный Гавриил
> Впился ему в то место роковое

(Излишнее почти во всяком бое),
В надменный член, которым бес грешил.
Лукавый пал, пощады запросил
И в темный ад едва нашел дорогу.

Эта трансформация произошла под влиянием французского – там слово *membre* как бытовой эвфемизм для обозначения пениса засвидетельствовано еще в XVII в. Оно фигурирует в первом европейском пособии по половому просвещению, которое носило заглавие “Школа девиц, или Дамская философия” и вышло в 1668 г. Автор этой смелой книги до сих пор неизвестен, но издателям пришлось пережить аресты и штрафы – книга содержала не только откровенные рассуждения о сексе, но и сатиру на католическую церковь. Что, разумеется, лишь прибавило популярности книге. Она стала одним из самых ярких образцов французской традиции либертинажа, в которой, по словам филолога Жоржа Нива:

> …игривость идет рука об руку с шуткой, вольность речей – с мистификацией. Солености здесь настолько же языкового, насколько умственного свойства. “Вольнодумное измерение” французского мышления неотделимо от вольнодумного периода в развитии философии. Бодрый, разящий ум смеется над приличиями ханжей, духовных лиц, старых дев-недотрог[148].

Традиция французского либертинажа охватывает два столетия, XVII–XVIII вв. Эта литература с некоторым запозданием пришла в Россию на рубеже XVIII–XIX вв. и во многом сформировала мышление и язык людей пушкинской эпохи. Далеко не все тогдашние эксперименты по изобретению лексики, позволяющей говорить о сексе, закрепились в русском языке[149], поскольку собственная либертенская литература в России так и не сформировалась, если не считать “Гавриилиады”. Но вот слово *член* прижилось настолько, что утратило все остальные предметные значения – если не считать значения *членства* в какой-либо организации, которое настолько удалилось от исконного смысла “часть целого”, что может уже считаться омонимом.

Если с языком секса в России не заладилось (дефицит лексики ощущается до сих пор), то язык эмоций был “сконструирован” успешно. Современный россиянин так привык употреблять слова *тронут, очарован, страсть*, что не

задумывается о том, как они появились в нашем языке. В допетровскую эпоху немалая доля эмоциональной сферы не отражалась в литературном языке – книжность была делом церковным, занятием по большей части духовных лиц, и о многих вещах благочестивым монахам писать не полагалось. Новгородские берестяные грамоты, написанные простыми горожанами, выдают явную нехватку средств выражения. Сохранилось как минимум два письма влюбленных. В грамоте № 752 (XII в.) женщина упрекает любовника за то, что он не пришел к ней, и даже использует вполне современное значение слова *задеть*, спрашивая, не "задела" ли она адресата своей назойливостью. Но вот с лексикой для описания любовного чувства – проблемы. Вот отрывок в переводе на современный русский:

> [Я посылала (?)] к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я тебя задела тем, что посылала [к тебе]? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под [людских] глаз и примчался…[150]

Эмоциональный накал впечатляет, но чувства выражаются, а не описываются. Когда корреспондентка пытается описать их, она не находит ничего лучше, чем "относилась как к брату" – неуместное выражение, с нашей точки зрения, когда речь явно идет о сексуальных отношениях. И даже слово *любо* (читатель уже приготовился умилиться народной поэзии?) – всего лишь вольность переводчика. В оригинале не "любо", а "годно" (*годьнъ*).

Другая грамота, № 377, написана мужчиной и адресована женщине. Здесь автор и вовсе изъясняется по-простому, сразу, так сказать, берет быка за рога: *язъ тьбе хощю а ты мене*[151]. Тут и перевод не требуется. Настоящий язык эмоций в допетровскую эпоху известен только в приворотных заговорах. Но это язык поэтический, состоящий из устойчивых образных формул: *горело б у рабы Божии имярек ретивое сердце* и т. п.[152] Для обиходного выражения чувств он был непригоден, да и подозрителен – ведь употреблять этот язык и означало колдовать.

Так вот, до сих пор недооцененное последствие петровских реформ, "прорубивших окно в Европу", – то, что личная, эмоциональная жизнь обычных людей (а не святых, занятых борьбой с бесовскими соблазнами) обретает голос, возможность выражения. И на помощь, как всегда, приходит французский язык. Слово *трогать* в русском языке означало лишь физическое

прикосновение, но по аналогии с французским *toucher* приобрело значение “возбуждать сопереживание”. Английское *touch* в прямом и переносном значении – непосредственное заимствование из французского, поэтому, даже не зная французского, современный россиянин понимает, что значит *touching* в английском тексте. Исконное русское *очаровать* несло сугубо негативное значение – оно означало колдовство в буквальном смысле слова. Но французское *enchanter* к XVIII в. давно приобрело чисто психологическое значение, привычное всем нам, – “произвести неотразимо приятное впечатление”: на дворе стояла эпоха Просвещения, верить в колдовство образованному французу было уже не комильфо, законы против колдунов и ведьм отменил еще “король-солнце” Людовик XIV в 1682 г., так что колдовства официально не существовало[153]. Новое значение пригодилось в русском языке – его легко усвоили русские дворяне, с малолетства владевшие французским и непринужденно переходившие с одного языка на другой в пределах одной реплики в разговоре (все помнят салон Анны Шерер в “Войне и мире”?).

*Страсть* в допетровское время означала исключительно “страдание” – в книжном языке (*страсти Христовы*), в народном же оно подразумевало “нечто страшное”, и это значение сохраняется в просторечии до сих пор: *страсти-мордасти; какие страсти рассказываешь*. Значение любви, сексуального влечения оно приобрело по аналогии с французским *passion*. Это слово также происходит из религиозной лексики (лат. *passio*) и первоначально относилось к страданиям Христа и мучеников. Однако еще в Средневековье оно проникло в романскую любовную поэзию. Так, слово *passioni* (мн. ч.) встречается у Данте в “Новой жизни”. Этот лирический сборник сонетов, перемежающихся зарисовками и комментариями в прозе, был завершен в 1294 г. и повествует об истории любви поэта к Беатриче (русский перевод А. Эфроса почему-то заменяет “страсти” на нейтральное “чувства”). Поклонение возлюбленной носит у Данте религиозный характер, поэтому неудивительно, что он говорит о себе как о мученике. Но во французской поэзии позднего Средневековья тема возвышенного преклонения перед прекрасной дамой трансформировалась в тему “жестокой возлюбленной”, которая изводит лирического героя, отказывая в сексе, и слово *passion* стало означать вначале “страдания от неутоленного сексуального влечения”, а потом просто “сексуальное влечение”, “пыл”, “эмоциональность”. Поэты французского Возрождения (XVI в.) уже употребляли его в современном значении; вскоре это слово попало в английский

язык – так, анонимный сборник любовной поэзии 1599 г., где впервые были опубликованы два сонета Шекспира, носит название *The Passionate Pilgrim* (“Страстный пилигрим”). Таким образом, когда в XVIII в. русская элита познакомилась с французским языком, психологическое значение слова *passion* было уже глубоко традиционным и насчитывало многовековую историю.

В качестве кальки с *passion* было закономерно использовано русское *страсть*. Поначалу новый язык эмоциональности не был общепонятен, и столкновение социолектов разных сословий порождало курьезные случаи недопонимания:

> Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла она замуж? “По страсти, – отвечала старуха, – я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь”. – Таковые страсти обыкновенны.
>
> *(А. С. Пушкин, “Путешествие из Москвы в Петербург”, 1834)*

Но постепенно, с ростом грамотности населения, через романсы и бульварную литературу, этот новый лексикон распространялся в низы и к XX в. стал всеобщим. Он проявил необычайную продуктивность: от *очаровать* образовались *очаровательный* и даже *очаровашка* (просторечие – тоже язык!), от *трогать – трогательный*, от *страсть – страстный, страстность, страстишка, пристрастие, пристраститься*. Теперь даже странно представить, что русский язык когда-то обходился без этих слов. А ведь они не могли бы возникнуть, если бы не кальки с французского.

Подобные истории достаточно наглядно демонстрируют, что представление, будто взаимодействие языков сводится к эпизодическому обмену новомодными названиями типа *гаджет* или *лукбук*, весьма наивно. Взаимодействие между языками происходит на протяжении многих веков и пускает корни на самых различных уровнях. И не обо всех уровнях мы пока еще рассказали.

# 12. Подъезжая к сией станцыи… у меня слетела шляпа

Название этой главе дала знаменитая фраза из рассказа Чехова “Жалобная книга” (1884) – в сокращенном виде, в котором ее обычно цитируют. Ради пунктуальности приведем ее полностью:

> Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа.

Комический эффект этого предложения состоит в том, что по нормам русского синтаксиса сказуемое и деепричастие должны относиться к одному и тому же субъекту. Стало быть, подъезжала к станции… шляпа, и она же глядела на природу в окно. Если учесть, что по-русски слово *шляпа* имеет также переносный смысл (“лопух, растяпа”), то получается, что герой невольно признался в обладании этими качествами.

Однако некоторые русские писатели употребляли этот оборот и не думая шутить. Чемпион по этой части – Лев Толстой:

> Проснувшись на другой день, первою мыслию моею было приключение с Колпиковым…
>
> *(“Юность”, 1857)*
>
> Пройдя калитку, Пьера обдало жаром.
>
> *(“Война и мир”, 1863–1869)*
>
> Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая была не при отце – отец был дурной хозяин, но при деде.
>
> *(“Дьявол”, 1889)*
>
> Проходя на свое место, халат ее зацепился за что-то, она старательно, не торопясь, выпростала его и села.
>
> *(“Воскресение”, 1899)*
>
> Накурившись, между солдатами завязался разговор.
>
> *(“Хаджи-Мурат”, 1904)*

В чем же дело? Толстой вряд ли относится к тому кругу малограмотных людей, к которому принадлежит чеховский Ярмонкин, написавший в жалобную книгу по поводу шляпы. Как-никак, граф имел в детстве собственных домашних учителей, блестяще владел иностранными языками… Вот иностранные языки-то его и подвели. Вернее, один конкретный язык – французский. Во французском языке подобные конструкции достаточно распространены. Деепричастному обороту там соответствует герундий с предлогом *en*, и такой оборот может употребляться без прямого согласования с подлежащим. Сами французы до сих пор не решили, правильно такое употребление или нет, но традиция его весьма почтенная:

> L’appétit vient en mangeant, la soif s’en va en buvant. – Буквально: *Аппетит приходит, поедая; жажда приходит, выпивая.*
>
> *(Франсуа Рабле, “Гаргантюа”)*

> …en voyageant jour et nuit, il suffirait de sept jours pour traverser l’Afrique. – Буквально: *путешествуя день и ночь, требовалось семь дней, чтобы пересечь Африку*.
>
> *(Жюль Верн, “Пять недель на воздушном шаре”)*

> Tout en écoutant son mari qui parlait d’un air grave, l’œil de Mme de Rênal suivait avec inquiétude les mouvements de trois petits garçons. – Буквально: *Слушая своего мужа, который говорил с важным видом, взгляд г-жи де Реналь с беспокойством следил за движениями трех малышей.*
>
> *(Стендаль, “Красное и черное”)*

> En descendant de la carriole, le cœur lui battait bien fort… – Буквально: *Слезая с телеги, его сердце сильно заколотилось…*
>
> *(Октав Мирбо, “Смерть папаши Дюге”)*[154]

Конечно же, ест не аппетит и пьет не жажда – ест и пьет человек, к которому они приходят; с телеги слезает не сердце, а персонаж, у которого заколотилось сердце; слушает не взгляд, а беспокойная мамаша, наблюдающая за детьми. Что касается примера из Жюля Верна, по-русски он и вовсе звучит бессмысленно, так как *требовалось* – глагол безличный и у него не может быть деепричастия (*путешествовать день и ночь* может только *кто-то*, а в этом предложении действующего лица нет).

Поэтому при переводе на русский язык такие предложения приходится перестраивать, например:

> Аппетит приходит во время еды.
>
> Слушая рассуждения своего мужа, который разглагольствовал с важным видом, г-жа де Реналь следила беспокойным взором за движениями трех мальчиков (пер. М. Богословской, С. Боброва).

Сходная синтаксическая перестройка происходит в английском языке:

> The appetite comes with eating. – Буквально: *Аппетит*

*приходит с поеданием*.

While she listened to her husband, who was speaking with an air of gravity, Madame de Renal's eye was anxiously following the movements of three little boys (transl. C. K. Scott Moncrieff). – Буквально: *Пока она слушала своего мужа, который говорил с важным видом, взгляд госпожи де Реналь беспокойно следил за движениями трех малышей.*

Мы видим, что по-английски правила синтаксиса немного отличаются (по правилам русского языка следовало бы сказать: *Пока госпожа де Реналь слушала… ее взгляд беспокойно следил…*), но "подъезжающая шляпа" английскому языку так же несимпатична, как и русскому.

Получается, что за короткой фразой про шляпу из рассказа на пустячную тему – в нем даже нет сюжета, всего лишь имитируется чепуха, которую посетители пишут в книге жалоб, – скрывается целая полемика о литературных нормах языка. Чехов дает понять, что не считает нормой синтаксический галлицизм, который постоянно употребляли такие авторитеты, как Толстой. В глазах Чехова это язык невежественных "ярмонкиных". Заметил ли Толстой этот рассказ, и как он отреагировал? Известно, что с 1888 г. граф был знаком с творчеством Чехова и высоко ценил его прозу, а в 1895 г. писатели познакомились лично[155]. Но попадалась ли Толстому на глаза "Жалобная книга", вышедшая в 1884 г. в журнальной публикации, и обсуждали ли они с Чеховым проблему деепричастий в русском языке – вероятно, останется тайной, покрытой мраком.

В итоге несогласованный деепричастный оборот так и не стал нормой в русском языке. Но это не значит, что сейчас у нас нет синтаксических иностранных заимствований. Современный русский синтаксис – продукт длительного взаимодействия книжного церковнославянского языка, разговорного русского и западноевропейских литературных языков, в первую очередь того же французского. Эксперименты по созданию нового литературного синтаксиса продолжались два столетия – с XVIII по XIX в. Многие из конструкций, характерных для литературы той эпохи, сейчас покажутся громоздкими, манерными или старомодными. Например, Карамзин допускал такие обороты:

…из политических стихов можно и должно сделать другое употребление (прости мне сей галлицизм) …

…разве ты не знаешь, какое участие беру я в судьбе его…

…никто конечно не берет живейшего участия во всех

твоих приятностях…

Мысли мои о любви брошены на бумагу, в одну минуту…[156]

Все это кальки с французского: *faire usage de (quelque chose); prendre part à (quelque chose), jeter sur le papier (les pensées, les idées etc.)*. Последующая история этих синтаксических оборотов сложилась по-разному. Первому было суждено отмереть как в русском, так и в самом французском: современные французы пользуются глаголом *utiliser*. Оборот *faire usage*, нормативный в литературе XVIII–XIX вв., ныне попадается разве что в напыщенных религиозных проповедях. Однако он сохранился… в английском языке. Современное английское выражение *to make use of (something)* – не что иное, как калька с французского, существующая по меньшей мере со времен Шекспира.

Остальные две конструкции живы во французском и сохранили там неизменный вид, а вот в русском претерпели эволюцию. Мы теперь говорим не *брать участие*, а *принимать участие* – этот вариант существовал еще при жизни Карамзина, который сам употребляет его в “Истории государства Российского”, а к 1840-м гг. глагол *принимать* окончательно победил[157]. К тому же этот оборот в современном русском языке утратил значение “проявлять эмпатию”, и за ним осталось только одно значение – “вовлеченности в какое-то действие”. И это еще не все: выражение *принимать участие* в наши дни утрачивает статус литературной нормы. Оно все больше воспринимается как принадлежность суконного канцелярита. Из литературного языка его фактически вытеснил глагол *участвовать*. А вот в английском прямо наоборот – глагол *to participate* воспринимается как более канцелярский, чем синтаксическая калька с французского *to take part*. Английский глагол *to participate* используется преимущественно в деловой литературе, тогда как у оборота *to take part* сфера употребления гораздо шире. Если носитель английского языка захочет спросить, участвуют ли ваши дети в школьных мероприятиях, он, скорее всего, употребит оборот *to take part*.

Аналогичное происхождение имеет наш оборот *принимать ванну*. Это калька с французского *prendre un bain*, и раньше говорили *брать ванну*. Возможно, вы читали “Детство Темы” Н. Г. Гарина-Михайловского. Вспомним третью главу:

– Сегодня дети берут ванну, – сухо перебивает мать. – Двадцать два градуса.

Если учесть, что повесть автобиографическая, а герою восемь

лет, то действие происходит около 1860 г. Выражение *принимать ванну* тогда было новшеством – оно впервые появляется в 1850-е гг., а распространенным становится лишь к концу XIX столетия. Повесть “Детство Темы” вышла в 1892 г., когда уже бытовал вариант *принимать ванну*, однако вариант *брать ванну* характерен для мемуарной литературы этого времени: люди еще помнили, как было принято говорить несколько десятилетий назад. Гарин-Михайловский здесь изумительно точен. Всем бы нынешним литераторам, описывающим быт и нравы тридцатилетней давности, такую точность!

Вариант с глаголом *брать* окончательно вымер к 1930-м гг. и со второй трети прошлого столетия больше не встречается (если только, может быть, где-то в эмигрантской литературе, где консервировались многие элементы языка XIX в.). Теперь мы *принимаем* ванну, а не *берем*. Ну и, как всегда, дословную кальку этого выражения сохранил английский – *to take a bath*.

Любопытно, что фразеологизм *принимать солнечные ванны* – тоже калька с французского, но французский допускает единственное число: *prendre un bain de soleil*. Правда, на современный русский слух это выражение, пожалуй, воспринимается как устаревающее или манерное – в нейтральной речи мы скорее употребим глагол *загорать*. А вот в английском на сей раз аналога нет. Англичане не калькируют это выражение, а переводят его специально сконструированным глаголом *to sunbathe* (букв. “солнцекупаться”). Тень Шишкова завистливо

вздыхает… Но о фразеологизмах – в другой главе.

И наконец, карамзинский оборот *бросить на бумагу* изменился почти до неузнаваемости – он принял форму глагола *набросать* (а в современном просторечии даже *накидать*). *Бумага* отпала за ненадобностью, поскольку, когда речь идет о *набросках* текста или рисунка, и так понятно, что в нашей культуре это делается на бумаге, а не на пергаменте или бересте. Да и бумага в нынешнюю компьютерную эпоху не всегда присутствует физически.

Французский язык был законодателем мод для русского и английского в былые времена, но ныне он и сам подвергается “атаке” калек, в том числе синтаксических. Особенно если это канадский французский – непросто устоять перед кальками в англоязычном окружении. Так, современные франкофонные канадцы говорят *sur mes vacances* (“на каникулах”) по образцу английского *on my vacations*, хотя исконно по-французски полагается говорить *en mes vacances* (букв. “в каникулах”). Наряду с заменой одного предлога другим случается выпадение предлога там, где он исконно был. Французы, как и мы, в словосочетании со значением “отвечать на вопрос” используют предлог – *répondre à une question*. Но по-английски принято не “отвечать на вопрос”, а просто “отвечать вопрос” – *answer a question*. Поэтому и франкофонные канадцы начали говорить *répondre une question.*

Помимо этого, они используют пассивные конструкции:

> Avez-vous été répondu?
> Вам ответили? (Букв.: “Вы были отвечены?”)

Такие конструкции исторически были нормой для английского языка (*Have you been answered?*), но не для французского, где для выражения безличности исконно употреблялось специальное неопределенное местоимение *on*. Житель Франции сказал бы: *On vous a répondu?*

Канадцы заимствовали даже специфическую английскую конструкцию с инфинитивом, которая отсылает к будущему действию. Например:

> C’est un catalogue à être distribué bientôt.
> Это каталог, который скоро будет разослан. (Букв.: “[чтобы] быть разосланным скоро”.)
> Англ.: This is a catalogue to be distributed soon.
> Франц. (норм.): C’est un catalogue qui sera distribué bientôt. (Букв.: “который будет разослан скоро”.)[158]

Борцы за чистоту французского языка рвут на себе волосы, но

остановить этот процесс не могут. Но в самом деле, не все же французскому влиять на другие языки. Почти тысячу лет английский выполнял по отношению к французскому пассивную роль неотесанного сельского ученика, которого необходимо просвещать и воспитывать. Немножко исторической справедливости, пожалуй, не помешает.

Истории с чеховской шляпой или англицизмами у франкофонных канадцев демонстрируют одну важную особенность синтаксических калек: они ассоциируются главным образом с безграмотностью, с нарушением речевых норм. Это отражается даже в научных работах, написанных людьми с профессиональной филологической подготовкой – лингвистами, переводчиками и преподавателями иностранных языков. Синтаксические кальки чаще рассматриваются в работах, посвященных ошибкам переводчиков, чем в работах о заимствованиях. Мой знакомый исследователь древней славянской письменности, заинтересовавшись проблемой греческого влияния, обнаружил, что синтаксические кальки в научной традиции считаются чем-то второстепенным или игнорируются[159].

Почему так происходит? Вероятно, потому, что синтаксическая калька распознается как калька только тогда, когда она явно нарушает нормы языка. Освоенные синтаксические кальки просто “невидимы”, даже для лингвистов, если они недостаточно глубоко знакомы с историей языкового узуса (а в упомянутом выше случае со старославянским языком такое знакомство невозможно, ведь мы не знаем, как говорили славяне в дописьменную эпоху). К счастью, у нас есть документированные примеры того, как “чужое” и “неправильное” постепенно становилось “своим” и нормативным.

Все современные носители русского языка привыкли к составному сказуемому *выглядеть как-то: выглядеть хорошо, выглядеть довольным, выглядеть как иностранец* и т. д. Но еще столетие назад эта конструкция вызывала нападки пуристов как безграмотная. Истории конструкции с глаголом-связкой *выглядеть* недавно посвятили целую статью филологи А. В. Зеленин и Д. В. Руднев[160].

По происхождению это двойная – семантическая и синтаксическая – калька с немецкого *aussehen* (*aus*– “вы-/из-” + *sehen* “смотреть”). В русском языке существовал глагол *выглядеть*, но значил он то же, что *высмотреть*. Например, у И. И. Лажечникова в романе “Последний Новик” (1833):

…бегающими туда и сюда глазами он [монах]

успевал исподлобья все выглядеть кругом себя…

По мнению Зеленина и Руднева, современное составное сказуемое *выглядеть (как-то)* привнесли в русский язык обрусевшие немцы в 1830-х гг. Авторы статьи ссылаются на Н. С. Лескова, вложившего этот оборот в уста плохо говорящей по-русски немки (“Островитяне”, 1865–1866), и на мнение пуристов XIX – начала XX в., один из которых в запальчивости пообещал 25 рублей – по тем временам большие деньги – тому, кто найдет пример этой конструкции “у Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Достоевского и хотя бы даже у Л. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина”. Зеленин и Руднев отмечают, что в словарях XVIII – первой трети XIX в. этот глагол-связка отсутствует.

Однако обращение к Национальному корпусу русского языка показывает, что в реальности картина была несколько сложнее. Начнем с того, что свои 25 рублей филолог П. Д. Драганов (это он в 1909 г. объявил такое пари) явно проспорил: Салтыков-Щедрин употребляет конструкцию с *выглядеть* неоднократно. Причем, если в ранний период он еще закавычивал это слово как новое и непривычное (*и солнце “выглядит” светлее* – “Противоречия”, 1847), то позже обходился без кавычек (*молодой шалуненок выглядит совсем иначе, нежели древний, промозглый шалунище* – “Наша общественная жизнь”, 1863–1864).

Упоминать Достоевского тоже было весьма неосторожно:

> – Вы сходите-ка к доктору да посоветуйтесь с ним. Знаете ли, вы как-то выглядите совсем нездорово.
>
> *(“Двойник”, 1846)*

Хоть Достоевский нередко изображал в своих произведениях карикатурных немцев с ломаной речью, но это говорит персонаж по имени Антон Антонович Сеточкин, в котором сложно заподозрить иностранное происхождение.

Не брезговал этой конструкцией видный славянофил И. С. Аксаков (сын автора “Аленького цветочка”), писавший в письме от 4 октября 1854 г.:

> Вы не пишете ни слова о здоровье Софьи, ни о Машеньке: что она, как выглядит, по петербургскому выражению?[161]

Как мы видим, и для Аксакова это всего лишь “петербургское выражение”, а не иностранный варваризм, которого человек его

убеждений не допустил бы. Уже во второй половине XIX в. составные сказуемые со связкой *выглядеть* употребляют десятки авторов, в числе которых Чехов и… Лесков, на которого Зеленин и Руднев ссылаются как на свидетельство того, что такая конструкция считалась чужеродной. Вот примеры, где Лесков использует ее без всякой иронии, и о стилизации под немецкую речь думать не приходится:

> Да, это правда, а все у вас как-то, кажется, веселее выглядит.
>
> *(“Некуда”, 1864)*
>
> Когда судья с Термосесовым только что вошли, каждому из них на вид можно было дать не более как лет по тридцати пяти. Судье даже можно было определить несколько менее, потому что на правах маленькой собачки до века будет выглядеть щенком…
>
> *(“Божедомы”, 1868)*

Первое свидетельство того, что составные сказуемые с глаголом-связкой *выглядеть* вошли в разговорную русскую речь, находим в 1830 г. у Н. А. Полевого, который сгоряча причислил их к галлицизмам:

> *Делать карьер* – это нестерпимый галлицизм, подобный галлицизмам: *я его слышал говорить, делать зубы, она выглядит*, и прочему, что слышим мы из уст хорошеньких девушек, которые сами галлицизм в нашем быту[162].

Впрочем, в “Дурочке” (1839) он же использует эту конструкцию как маркер речи немки, то есть, очевидно, Полевой все-таки понимал, что это германизм, а не галлицизм. Но при этом немка по прозвищу Дурочка – героиня положительная, а речь ее отнюдь не ломаная и не комическая. Видимо, с годами Полевой стал более нейтрально воспринимать этот синтаксический оборот.

Следовательно, в устной речи конструкции с *выглядеть* появились еще в 1820-е гг., а с 1840-х, как свидетельствуют данные НКРЯ, они уже прочно утвердились в литературном языке и перестали ощущаться как иностранные. Похоже, Руднев и Зеленин слишком доверились мнению пуристов того времени. Драганов не единственный, кто в пылу полемики делал курьезные

утверждения. Вот еще одна цитата, приведенная в статье Руднева и Зеленина, – А. Н. Греч пишет в 1839 г.:

> Не довольно обруселые немцы, переводя с немецкого “Sie sieht hübsch aus”, говорят: “она хорошо выглядит” вместо: “она хороша собою”, или “чернильница выглядит, как ваза”, желая сказать, что чернильница имеет вид вазы. Слово *выглядеть* значит то же, что и *разглядеть*, и отнюдь не может быть употреблено в значении, которое придают ему недоученные[163].

На самом деле юный Греч – сын Н. И. Греча, известного друга и соавтора Ф. В. Булгарина, – здесь основательно оконфузился, потому что *чернильница имеет вид вазы* представляет собой натуральную синтаксическую кальку с французского *avoir l’air de*. Ср. английское *to have an air of*, хотя по-английски этот оборот обычно применяется только к настроению или атмосфере. Да и *может быть употреблено* – синтаксический галлицизм (*peut être* + страдательное причастие). Улыбку вызывает и инвектива в адрес “не довольно обруселых немцев”: Н. И. Греч, отец А. Н. Греча, был чистокровным немцем-лютеранином, хотя и великолепно знавшим русский язык (он написал множество учебников по русской грамматике). Вероятно, 25-летний автор книги “Справочное место русского слова”, откуда взята эта гневная отповедь “не довольно обруселым немцам”, считал самого себя “довольно обруселым немцем” – однако благоразумно опубликовал книгу анонимно, и ее авторство было установлено лишь в XX в.

А Драганов, боровшийся за чистоту русского языка семьдесят лет спустя, был этническим болгарином… Что ж, это не первый случай в истории, когда “инородцы” пытаются быть большими русскими патриотами, чем сами русские. Отношение к слову *выглядеть* у коренного русскоязычного населения решительно разошлось с мнением пуристов, и конструкции с ним стали общепринятыми уже через несколько лет после инвективы Греча, Драганов же в 1909 г. на битву уже безнадежно опоздал. Попытки навязать глаголы *казаться* и *представляться* как альтернативы *выглядеть* провалились, так как эти глаголы несут смысловой оттенок значения “субъективной иллюзии” – не зря до сих пор говорят: “Когда кажется, креститься надо!” А глагол *выглядеть* передает именно объективное впечатление.

Любопытно, что на раннем этапе употребления составного сказуемого со словом *выглядеть* были случаи, когда его старое значение (как простого глагольного сказуемого в значении “высмотреть”) сталкивалось с новым в пределах одного текста:

…парнюха-то и выгляди у одного из них невзначай книжку с деньгами… (старое)

ишь они какими недобрыми людьми выглядят… (новое)

*(Д. В. Григорович, “Антон-горемыка”, 1847)*

Но со второй половины XIX в. значение, которое пуристы считали “правильным”, сохраняется только в редких случаях сознательного использования архаизмов (например, в историческом романе А. К. Толстого “Князь Серебряный”). Калька с немецкого одержала решительную победу. И хотя отдельные попытки бороться с нею встречались еще в начале 1960-х (да-да!) годов[164], в настоящее время она воспринимается как исконно русская синтаксическая конструкция и используется чрезвычайно активно. Немного математики: корпус текстов в НКРЯ за 1800–1900 гг. насчитывает на данный момент 55 609 242 слова, на которые приходится 258 случаев употребления глагольной связки *выглядеть*. Корпус текстов за 2000–2019 гг. составляет 73 271 093 слова. За последние 20 лет – в 1,3 раза больше, чем за весь XIX в. Не приходится удивляться, что с распространением грамотности и электронного тиражирования текстов люди стали больше писать и публиковать. Вот только случаев употребления конструкций с *выглядеть* стало не в 1,3 раза больше, а… более чем в 45 раз: их насчитывается 11 721. Здесь можно было бы порассуждать о том, почему эти конструкции приобрели такую бешеную популярность в XXI столетии и не связано ли это с идейной атмосферой постмодернизма, но это, пожалуй, уведет нас слишком далеко от темы заимствований.

Привычным стал и оборот *делать карьеру*, галлицизм, который так возмущал Н. А. Полевого в 1830 г. Он тоже никого не удивляет в наши дни. Мораль сей басни такова: синтаксические кальки ведут себя не совсем так, как “типичные” заимствования. Они распознаются как чужеродные языковые явления только до тех пор, пока носят случайный характер или еще слишком новы. Как только они “обкатываются” регулярным употреблением, они перестают восприниматься носителями языка как заимствования. Не зря “синтаксическими кальками” часто принято называть случайные ошибки переводчиков, а заимствованные из других языков регулярные синтаксические конструкции далеко не всегда удостаиваются даже упоминания в работах о заимствованиях и кальках.

Кроме того, синтаксические кальки часто путают с другим типом калек – фразеологическим. О них пойдет речь дальше.

# 13. Волк в овечьей шкуре на ярмарке тщеславия

Как мы привыкли считать со школы, к фразеологии относятся устойчивые сочетания слов, которые образуют неразложимые единицы. Однако что такое неразложимость? Более-менее очевидно, что неразложимы такие сочетания, как *бить баклуши, сесть в калошу, с бухты-барахты, отставной козы барабанщик.* Они не делятся на отдельные словарные единицы: современному носителю русского языка, как правило, непонятно, что такое *баклуши*, но во всяком случае, понятно, что в выражении *сесть в калошу* речь не идет о резиновой обуви. В фольклористике такие сочетания называются поговорками.

Есть иные случаи, когда сочетание разложимо в буквальном смысле слова и неразложимо в переносном: например, *раскрыть карты* или *плыть по течению*. Можно в буквальном смысле *раскрывать карты* во время карточной игры и *плыть по течению* на байдарке, но те же выражения имеют и переносный смысл. По классификации, введенной В. В. Виноградовым в середине прошлого столетия[165], комбинации типа *сесть в калошу* называются **фразеологическими сращениями**, а комбинации типа *раскрыть карты* – **фразеологическими единствами**. Виноградов ввел и третью категорию фразеологизмов – **фразеологические сочетания**, куда он отнес любые комбинации, где хотя бы один элемент имеет ограниченную сочетаемость: например, *потупить глаза/взгляд* (слово *потупить* не сочетается со словами *рука* или *нога*, тогда как синонимичное *опустить* – сочетается). Эта классификация вошла в традиционные учебники[166].

Некоторая проблема заключается в том, что сочетаемость большинства слов так или иначе ограничена – грамматикой, стилистикой и даже самой реальностью. Мы можем сказать *деревянный стул/ящик/дом* или *коровье/козье/кокосовое молоко*, но не можем сказать – если только не сочиняем футуристическую поэму, – *деревянный камень* или *электронное молоко. Апельсин* бывает *круглым, спелым, оранжевым* или *зеленым*, но не *синим* или *квадратным*, если только до этого не дойдут успехи генной инженерии. Можно *мчаться на велосипеде* и *мчаться по лестнице*, но хотя можно *бежать по лестнице*, нельзя *бежать на велосипеде*. Бывает *прелестная малышка*, но не бывает *прелестной малявки*. А ведь Виноградов предлагал считать фразеологическими и такие сочетания, как *злость берет, зависть берет, тоска берет* и т. д. на

том основании, что к положительным эмоциям глагол *брать* не применяется. Хотя, если вдуматься, названий эмоций, которые сочетаются в качестве подлежащего с глаголом *брать*, едва ли не больше, чем, например, любых существительных, которые могут служить дополнением к глаголам *молотить* или *редактировать*.

Все усложняется еще больше, когда речь заходит о заимствованных комбинациях слов. Например, русское выражение *делать карьеру*, хотя в него можно вклинить прилагательное (*блестящую* или *успешную*), по критериям Виноградова – фразеологическое сочетание. Однако во французском, откуда взято выражение *faire (une) carrière*, глагол *faire* свободно сочетается со множеством других абстрактных существительных: *faire la guerre* “воевать” (букв. “делать войну”), *faire des excuses* “приносить извинения” (букв. “делать извинения”), *faire du bruit* “шуметь” (букв. “делать шум”), *faire la prière* “молиться” (букв. “делать молитву”, ср. церковнославянское *молитву творити*) и т. д. Это употребление глагола *faire* настолько распространено, что его нельзя считать фразеологически связанным. Стало быть, в исходном языке оборот может быть не фразеологизирован, а в принимающем он фразеологизируется.

Наконец, в разных научных традициях языкознания терминология существенно расходится. Русские лингвисты, в частности И. А. Мельчук, обращаясь к англоязычной аудитории,

используют заимствованный из немецкой традиции термин *phraseme*, под которым они понимают фразеологизм в виноградовском широком значении. Но для английских и американских лингвистов это экзотика[167]. Более общепринято в англофонной науке понятие идиомы (*idiom*), которое соответствует первым двум типам фразеологизма по Виноградову – фразеологическому единству и фразеологическому сращению. Зато англоязычные лингвисты выделяют другие языковые единицы – коллокации (*collocation*) и клише (*cliché*). Коллокация – это частое соседство определенных слов в речи, например *крепкий чай* (*strong tea*), а клише – фактически любой стереотипный элемент не только речи, но также литературы, искусства и т. д. Например, *dark shape* “темный силуэт” в англоязычной фантастике или выражение *что-то кольнуло* в творчестве советских писателей.

Потому, чтобы избежать лишних сложностей, договоримся считать фразеологическими кальками только очевидные случаи, когда идиома (в английском понимании) одного языка становится идиомой же в другом языке, и при этом она более или менее дословно переводится. Нельзя, например, считать фразеологической калькой выражение *а ля гер ком а ля гер* (франц. *à la guerre comme à la guerre*), это с точки зрения русского языка прямое заимствование, только не отдельного слова, а более крупной единицы. Но та же поговорка приводится по-русски и в форме *на войне как на войне*, и это уже фразеологическая калька. Разумеется, к области фразеологии также традиционно относятся пословицы – более развернутые высказывания, которые обычно имеют вид целого предложения.

Кроме того, мы не будем рассматривать многочисленные “бродячие” пословицы и идиомы, которые настолько похожи во многих родственных и неродственных языках, что установить, кто у кого их заимствовал, крайне трудно, – например, такие как *брать быка за рога* или *птичье молоко*[168]. Нас будут интересовать только такие примеры, где источник заимствования надежно устанавливается.

Даже при таких ограничениях на поверку оказывается, что фразеологических калек в языках – огромное количество.

# 1. Библеизмы

Первое место здесь принадлежит, конечно же, цитатам из Библии. Как ни упорствовали церковные иерархи, пытаясь объявить древние языки – иврит, латынь и греческий – сакральными, единственно возможными языками Библии, потребность в чтении на родном языке оказалась сильнее. Библию переводили на сотни языков – задолго до того, как в середине 1960-х гг. на Втором Ватиканском соборе католики окончательно упразднили обязательность богослужений на латыни. Парадоксальным образом современная РПЦ настаивает на сохранении церковнославянского в качестве особого сакрального языка богослужений, хотя более тысячи лет назад Кирилл и Мефодий, создавая славянские переводы Библии, боролись именно против представлений об особых сакральных языках и хотели, чтобы богослужение было понятно прихожанам. Просто за много веков кирилло-мефодиевские переводы перестали быть понятными восточнославянскому слуху. Так называемый Синодальный перевод на современный русский, по которому сейчас в основном и читают Библию миряне, вышел в 1876 г. и в официальной богослужебной практике РПЦ не используется[169].

В результате часть библейских фразеологизмов, бытующих в современном русском, церковнославянские по форме, а часть восходит к Синодальному переводу. Вот несколько примеров.

| Фразеологизм | Церковнославянский текст 1751 г. | Синодальный перевод |
|---|---|---|
| 1) притча во языцех | и будеши тамо в гаданіе и въ притчу и повѣсть во всѣхъ языцѣхъ (Втор 28: 37) | и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов |
| 2) гроб повапленный | лицемѣри, яко подобитеся гробомъ повапленымъ, иже внѣуду убо являются красны, внутрьуду же полни суть костей мертвыхъ и всякія нечистоты (Мф 23: 27) | лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты |
| 3) ищите и обрящете | ищите, и обрящете (Мф 7: 7) | ищите, и найдете |
| 4) яко тать в нощи | якоже тать в нощи (1 Фес 5: 2) | как тать ночью |
| 5) служить двум господам | никтоже можетъ двѣма господинома работати (Мф 6: 24) | Никто не может служить двум господам |
| 6) на песке строить | уподобитеся мужу уродиву иже созда храмину свою на песцѣ (Мф 7: 26) | уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке |
| 7) видеть сучок в чужом глазу и не замечать бревна в своем | Что же видиши сучецъ иже во оцѣ брата твоего, бервна же, еже есть во оцѣ твоем, не чуеши (Мф 7: 3) | И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? |

Мы видим, что первые четыре фразеологизма взяты из церковнославянского текста, а последние три опираются на русский. Есть и такие, которые совпадают в церковнославянской и в русской версиях: *мерзость запустения, краеугольный камень, соль земли*. Поэтому неясно, происходят ли они из церковнославянской Библии или из Синодального перевода[170].

Собственно говоря, для нас это и не имеет особого значения: ведь все они являются кальками с греческого. Напомним, что Ветхий Завет известен в православной традиции по греческому переводу, а Новый Завет, из которого взято большинство примеров в нашей таблице, изначально писался на греческом. Так что все библейские фразеологизмы и пословицы – заимствования.

Некоторые из библеизмов (так иногда называют эти языковые единицы) имеют международный характер. В западноевропейские

языки они попадали другим путем, через посредство латинской Библии. Однако, поскольку переводчики библейских текстов стремились максимально дословно передавать афоризмы и аллегорические образы, то образовался солидный общий межъязыковой фонд библейской фразеологии. Например:

> англ. *the cornerstone* – франц. *la pierre angulaire* – рус. *краеугольный камень* (Исайя 28:16);
>
> англ. *a two-edged sword* – франц. *(arme/epée) à double tranchant* – нем. *ein zweischneidiges Schwert* – рус. *обоюдоострый меч* (Притч 5:4; Евр 4:12);
>
> англ. *a wolf in sheep's clothing* – франц. *un loup déguisé en mouton* – нем. *ein Wolf im Schafspelz* – рус. *волк в овечьей шкуре* (Мф 7:15);
>
> англ. *a voice crying in the wilderness* – франц. *une voix criant dans le désert* – рус. *глас вопиющего в пустыне* (Ин 1:23).

Обратим внимание, что не во всех языках одни и те же библеизмы одинаково распространены по употребительности и значению. Например, в немецкой Библии Мартина Лютера есть "глас вопиющего (буквально – проповедника) в пустыне" (*eine Stimme eines Predigers in der Wüste*), но расхожим фразеологизмом у немцев это выражение не стало. "Краеугольный камень" в немецком не имеет устойчивой формы и передается несколькими вариантами – *Eckpfeiler, Grundstein, Grundpfeiler*, тогда как Библия Лютера в этом месте дает слова *Grundstein* и *Eckstein*. Напротив, "обоюдоострый меч" четко прослеживается в немецком, английском и русском, а вот во французском этот фразеологизм неустойчив: слово "меч" утратило обязательность, оно не только легко заменяется каким-то другим (*arme* – просто "оружие"), но зачастую вообще отпадает, и сохраняется только словосочетание *à double tranchant*. Более того, французы, по-видимому, обычно не опознают в этом выражении библейскую цитату, в том числе потому, что в большинстве французских переводов Библии стоит *épée à deux tranchants*.

Поговорка про волка известна многим народам, но в немецком и русском она претерпела модификацию. В Евангелии волк приходит не в "шкуре", а в "одежде" овцы – у Матфея стоит слово *éndyma* "плащ, верхняя одежда". В английской Библии короля Иакова одежда осталась одеждой – *clothing*; у французов волк "переодет бараном" (*déguisé en mouton*). Однако и в церковнославянском, и в русском Синодальном переводе – тоже *одежда*, и в немецкой Библии Лютера стоит *in Schafskleidern*, а не *Schafspelz*. В идиоме же "одежда" стала "шкурой".

Происхождение немецкого варианта со “шкурой” устанавливается точно: его активно употреблял сам же Лютер в своих проповедях[171]. В широкий литературный обиход он входит в XIX в., как раз после издания собрания сочинений Лютера. Проповедь, в отличие от богослужебного текста, – это жанр, позволяющий значительную свободу варьирования лексики. Лютер использовал слово *Schafspelz* как более лаконичное и вместе с тем более естественное. Какая же одежда на овце? Конечно, на ней шкура! Возможно, на форму фразеологизма оказали влияние и переводы басен Эзопа, у которого тоже есть сюжет о волке в овечьей шкуре (но оставим этот вопрос специалистам по истории немецкой литературы).

В русской литературе этот фразеологизм распространяется еще позже и до второй половины XIX в. практически не встречается, так что можно заподозрить немецкое посредничество. Если вдуматься, нет ничего странного в том, что библейские идиомы не всегда приходят в язык непосредственно из Библии: за последние несколько столетий светская литература разных стран благодаря культурному обмену превратилась, можно сказать, в единый организм с общей кровеносной системой, которую невозможно разделить по государственным границам.

И конечно, в этой системе циркулируют не только библейские фразеологизмы и пословицы, но и светские, возникшие в быту одних народов и заимствованные другими. Их тоже немало.

# 2. Античная фразеология

Еще в Средневековье люди использовали в речи обороты не только из Библии, но и из классической античной литературы. Вплоть до начала XX в. школьников заставляли заучивать “крылатые фразы и выражения” на латыни, а студентам гуманитарных вузов это приходится делать до сих пор. Потому многие античные фразеологизмы и пословицы бытуют в двух вариантах – латинском и переводном. Например:

sine ira et studio – без гнева и пристрастия
urbi et orbi – граду и миру
Dictum est factum. – Сказано – сделано.
Homo homini lupus est. – Человек человеку – волк.
Aquila non captat muscas. – Орел не ловит мух[172].

Нас, конечно, интересуют переводные варианты, потому что только они относятся к настоящим фразеологическим заимствованиям, – они становятся полноправными элементами принимающего языка.

Не всякий фразеологизм, связанный с античной культурой, имеет античное происхождение. В популярной литературе много путаницы на этот счет. К заимствованиям из античной фразеологии не относится, например, выражение *сизифов труд*, поскольку оно возникло в Новое время. Оно лишь отсылает к античному мифу. Такие культурные отсылки – другой тип заимствований, который будет рассмотрен в следующей главе.

Примерами подлинных заимствований античной фразеологии могут служить такие выражения, как *бог из машины* и *двуногое без перьев*. Первое часто приводится вместе с латинским оригиналом *deus ex machina*, но в современной речи может употребляться и самостоятельно по-русски. Так говорят критики, когда хотят отругать книгу или фильм за неестественную развязку – мол, автор запутался в своем сюжете и вынужден придумывать, скажем, внезапный приезд дяди из Америки, который всем все объяснил. Это выражение восходит к спецэффектам античного театра: когда на сцене должны были появиться боги, их спускали с “небес” при помощи специального механизма. Некоторые драматурги уже в древности злоупотребляли приемом появления богов – в частности, за это критиковали Еврипида, у которого в трагедии “Ипполит” боги сходят с небес для того, чтобы вмешиваться в ход событий и разъяснять тайны.

В западноевропейских языках *deus ex machina* обычно цитируется в оригинале. А вот *двуногое без перьев* имеет переводные соответствия: по-английски *featherless biped*, по-французски *bipède sans plume*. Фразеологизм восходит к анекдоту о Диогене Синопском, том самом, который, согласно легенде, жил в бочке: Платон дал определение человека как “животного о двух ногах, лишенного перьев”, а Диоген ощипал петуха и заявил, что в таком случае это человек. Хотя мы не знаем наверняка, какие из многочисленных историй о Диогене Синопском вымышлены, а какие имели место в действительности, само происхождение анекдота о “двуногом без перьев” достоверно античное. Он зафиксирован тезкой Диогена Синопского – Диогеном Лаэртским (II или III в. н. э.), в книге “О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов” (кн. 6)[173]. Составляя биографии философов, Диоген Лаэртский явно претендует на то, чтобы их высказывания стали, как говорят в наше время, мемами – зачастую его жизнеописания превращаются в сплошные подборки остроумных реплик. Платоновское определение *zō̃on dípoun ápteron,* судя по контексту байки, было если не устойчивой фразеологической единицей, то по крайней мере популярной цитатой уже во времена Диогена Лаэртского. А затем оно в качестве готовой фразеологической единицы попадает в современные европейские языки – путем калькирования.

Порой история античных заимствований во фразеологии бывает намного сложнее. Классический во всех смыслах пример – выражение *перейти Рубикон*. Популярная литература, как отечественная, так и западная, почему-то комментирует это выражение, отсылая к фразе *iacta alea est* – “жребий брошен”, – которую якобы произнес Гай Юлий Цезарь при переходе упомянутого Рубикона. Напомним вкратце, как обстояло дело. В 49 г. до н. э. Цезарь, возвращаясь из похода на Галлию и уже находясь в крайне натянутых отношениях с римским сенатом, совершил рискованный поступок. По закону наместники, командовавшие колониальными войсками, не имели права вступить на землю метрополии с солдатами – это расценивалось как вооруженный мятеж и каралось смертной казнью. Граница между Галлией и Римской республикой пролегала по реке Рубикон. После некоторых раздумий Цезарь все же перешел реку вместе со своим XIII Легионом, что положило начало гражданской войне в республике. Согласно историку Светонию, автору “Жизни двенадцати цезарей”, будущий диктатор произнес при этом: “Iacta alea est!”

Так при чем тут фразеологизм *перейти Рубикон*? Он гораздо популярнее, чем латинское *iacta alea est*, и носит международный

характер: по-английски *crossing the Rubicon*, по-французски *franchir le Rubicon*, по-немецки *den Rubikon überschreiten*, по-итальянски *passare il Rubicone*. Фразеологизм проник даже в венгерский, турецкий и иврит! Естественно предположить, что он не с потолка взялся и что латинский источник у него все-таки есть.

Небольшое авторское расследование показало, что источник – малоизвестный в наше время римский историк Веллей Патеркул (ок. 19 г. до н. э. – ок. 31 г. н. э.). Путаница даже с его первым именем: его называют то Гаем, то Марком. Однако именно у него встречается формулировка *Caesar cum exercitu Rubiconem transiit* – "Цезарь с воинством перешел Рубикон" ("История Рима", кн. II, гл. 49)[174]. В XVII–XIX вв. этот памятник часто переиздавали и иногда даже включали в издания "Записок о галльской войне" самого Цезаря.

В XIX в. словосочетание *Rubiconem transiit* чрезвычайно полюбилось составителям учебников по латыни и предисловий к памятникам римской литературы. В ту пору предисловия модно было тоже писать на латыни, демонстрируя ученость. Остается только пожалеть современных студентов, которые, натыкаясь на подобные издания в горячке работы над курсовой, могут и не разобраться, что текст на латыни принадлежит вовсе не античному автору, а викторианскому джентльмену в галстуке… Но мы отвлеклись. В XIX в. словосочетание *Rubiconem transiit*

получило широкую популяризацию благодаря латинской грамматике Карла Цумпта, где оно фигурировало как пример употребления перфекта – одного из прошедших времен (однако Цумпт дает не точную цитату из Веллея Патеркула, а предложение, по-видимому, сконструированное им самим)[175]. Учебник выдержал множество переизданий и переводов с немецкого на другие языки, он бытовал на протяжении всего XIX в. во множестве версий.

Итак, на выражение *Rubiconem transiit* наталкивались все гимназисты, учившие латынь, как только учитель говорил: “К завтрашнему дню – параграф о перфекте”. А поскольку образование в Европе и даже отчасти США XIX в. успело значительно стандартизироваться – о чем свидетельствует международное признание учебника Цумпта, – то и культурный багаж выпускников школ оказывался во многом общим, и такие выражения, как *перейти Рубикон*, оказывались общепонятными и воспроизводились на живых языках.

Курьезность статуса идиомы *перейти Рубикон* заключается в том, что по всем формальным признакам это не столько античное, сколько псевдоантичное изречение. Однако у него есть реальный античный источник, пусть и забытый, – Веллей Патеркул, родившийся всего четверть века спустя после драматической гибели Цезаря на Капитолии. Не нужно много фантазии, чтобы представить себе, как в детстве он слышал рассказ старого легионера: “А Цезарь и говорит – плевать на сенат, тут я приказы отдаю, переходим Рубикон”. Но во времена Веллея Патеркула это словосочетание не было идиомой, как не стало ею и в более поздние периоды римской истории. Идиоматический характер оно приобрело в Новое время благодаря преподавателям латыни – а может быть, и одному-единственному преподавателю, немцу по имени Карл Готлиб Цумпт.

Разумеется, для обмена идиомами или пословицами необязательно посредство мертвых языков – живые языки отлично умеют делать это самостоятельно.

# 3. Языки Нового времени

Изучение межкультурных взаимодействий в литературе, истории переводов и путешествий цитат – целая огромная область гуманитарных наук. Но сейчас нас интересует лишь небольшой уголок этой области – заимствованная фразеология. Далеко не всякая аллюзия или цитата иноязычного происхождения удостаивается чести стать фразеологическим элементом. Для этого нужно, чтобы она оторвалась от своего исходного контекста и ее связь с первоисточником стерлась.

Репертуар иностранных источников для фразеологии может быть самым разнообразным. Иногда уже готовые идиомы и пословицы переводятся напрямую и начинают бытовать в другом языке. Например, *Мой дом – моя крепость*. Это не что иное, как вольный перевод английской пословицы *An Englishman's home is his castle* ("Дом англичанина – его замок"). Любопытна трансформация, которую пословица претерпела в переводе из-за выбора слова *крепость*. В пословице два смысловых плана: 1) дом – это место, где можно чувствовать себя в безопасности; 2) дом – это место, где хозяин-барин вправе делать что хочет, как феодал в своем замке. Для англичан основной смысл пословицы – второй, для россиян же на первый план выдвигается идея безопасности, и более того, военизированные коннотации слова *крепость* порождают толкование, совершенно несвойственное оригинальной английской пословице. Как пишет один из участников онлайн-дискуссии на эту тему: "А смысл пословицы «Мой дом – моя крепость» в том и есть, что стоять за себя и родных, да за свое имущество будем драться насмерть"[176].

Еще одна английская пословица, вошедшая в современную русскую речь, – *Красота в глазах смотрящего*. Она настолько освоена, что попадает в сетевую поэзию[177]. Иногда в Рунете фразу приписывают Оскару Уайльду, но чаще она функционирует именно как безличная пословица. Впрочем, имя Уайльда в России – тоже своего рода знак фольклорности, поскольку в широких народных массах у нас сложилось фантастическое представление, будто все на свете афоризмы и остроумные высказывания придуманы Уайльдом (кроме тех, которые придуманы Черчиллем и Бисмарком). Доля истины, по крайней мере, в том, что пословица действительно английская – в оригинале она звучит как *Beauty is in the eye of the beholder*. Уже источник 1863 г. называет ее "старой пословицей"[178]. Оскару Уайльду было тогда девять лет.

Активно калькируются с английского идиомы, связанные с

языком журналистики и общественно-политической жизни:

> англ. *golden parachute* – рус. *золотой парашют* – нем. *goldener Fallschirm*;
>
> англ. *cold war* – рус. *холодная война* – нем. *kalter Krieg*;
>
> англ. *the iron curtain* – рус. *железный занавес* – нем. *der eiserne Vorhang*;
>
> англ. *the silent majority* – рус. *безмолвствующее большинство* – нем. *die schweigende Mehrheit*;
>
> англ. *vanity fair* – рус. *ярмарка тщеславия* – нем. *Jahrmarkt der Eitelkeit*[179].

Последний пример особенно интересен своим происхождением. Это выражение авторское, и вместе с тем его принадлежность размылась до неузнаваемости. За пределами англоязычного мира выражение *ярмарка тщеславия* известно главным образом по одноименному роману У. М. Теккерея (*Vanity Fair*, 1848). Но Теккерей не изобрел этот оборот – он заимствован из “Пути паломника” Джона Беньяна, странной книги, вышедшей в 1678 г. и на двести лет ставшей бестселлером, более знаменитым, чем любая пьеса Шекспира. Беньян – английский близнец нашего протопопа Аввакума, народный проповедник, в борьбе за чистоту веры вступивший в конфликт с официальной церковью и не раз попадавший в тюрьму. Разве что умер он, в отличие от Аввакума, своей смертью, поскольку в Англии того времени на кострах еретиков уже не сжигали. “Путь паломника”, известный также на русском языке как “Путешествие пилигрима”, был задуман как морально-дидактическое сочинение о спасении души: персонаж по имени Христиан (имя тоже не случайно) узнает, что его город будет разрушен, и ищет путь ко спасению от погибели. Оригинальность Беньяна состояла в том, что для выражения стандартной идеи проповеди он использовал наглядный язык образов авантюрного романа, бытовых зарисовок и социальной сатиры:

> Когда-то шли этим путем и Вельзевул, Аполлион и Легион со своими товарищами. Когда они поняли, что дорога, ведущая в Небесный Град, проходит через город Суету, они сговорились устроить там ярмарку, где бы круглый год шла торговля всевозможными предметами суеты. Купить там можно все: дома, имения, фирмы, ремесла, должности, почести, титулы, чины, звания, страны, царства, страсти, удовольствия и всякого рода плотские наслаждения. Не брезгуют и живым товаром:

> проститутки, развратные мужчины, богатые жены и мужья, дети, слуги обоего пола, жизнь, кровь, тела, души. Выбор серебра, золота, жемчуга, дорогих каменьев огромен! На этой ярмарке толпами бродят во всякое время фигляры, шулеры, картежники и бродячие артисты, безумцы, плуты и мошенники всякого рода. Круглосуточно можно созерцать всевозможные зрелища, и притом бесплатно, – воровство, убийство, прелюбодеяние, клятвопреступление[180].

В России после 1917 г. Беньян был основательно забыт, да и в англоязычных странах в XX в. он утратил популярность. А выражение *vanity fair* прижилось и стало нарицательным. В русском языке оно закрепилось кружным путем через перевод романа Теккерея, у которого тоже непростая история: текст умершего в 1935 г. переводчика М. А. Дьяконова был отредактирован для советского издания Р. М. Гальпериной и М. Ф. Лорие. Отсюда и разночтение: в дореволюционном переводе Беньяна, сделанном Ю. Д. Засецкой (между прочим, родной дочерью Дениса Давыдова), была *ярмарка суеты*. В том, что победил вариант *ярмарка тщеславия*, по большому счету, решающую роль сыграли историческая случайность и идеологическая цензура – религиозная литература в советское время надолго оказалась под запретом. Но вряд ли кто-нибудь сейчас, в эпоху, когда старый перевод книги Беньяна вернулся к читателю и находится в открытом доступе в интернете, будет настаивать на *ярмарке суеты*. Тем более что слово *суета* для современного русского читателя означает в основном “толкотню, бессмысленные телодвижения, утомительные занятия”, а вовсе не то, что подразумевал Беньян. *Тщеславие* не только более звучно, но и более адекватно передает смысл. Перед нами идеальный пример того, как изначально авторский образ становится идиомой в родном языке, а потом заимствуется в другие языки уже в качестве идиомы. Связь с первоисточником истончается почти до невидимости.

В XVIII–XIX вв. фразеологический запас русского языка активно пополнялся из французского. Французский язык подарил нам такие выражения, как *золотая молодежь* (в оригинале, скорее, “позолоченная” – *jeunesse dorée*), *искусство для искусства* (*l’art pour l’art*), *игра не стоит свеч* (*le jeu n’en vaut pas la chandelle*), *таскать каштаны из огня* (*tirer les marrons du feu*). Последняя идиома когда-то была более длинной и звучала как *tirer les marrons du feu avec la patte du chat* – букв. “таскать каштаны из огня лапами кота”. Ее часто связывают с басней Лафонтена “Обезьяна

и кот”, где обыгран этот сюжет, но она, по-видимому, старше басни, а Лафонтен лишь проиллюстрировал ее смысл. Так или иначе, в России эта басня малоизвестна, и оборот *таскать каштаны из огня* попал в русский язык как самостоятельная фразеологическая единица.

Один из наиболее часто цитируемых примеров идиомы французского происхождения – *быть не в своей тарелке*, которая встречается еще у Грибоедова в “Горе от ума”:

*[Фамусов – Чацкому: ]*

> Любезнейший! Ты не в своей тарелке.
> С дороги нужен сон. Дай пульс… Ты нездоров.

Пушкин в свое время указал, что это калька с французского *ne pas être dans son assiette*:

> Assiette значит положение, от слова asseoir, но мы перевели каламбуром – “в своей тарелке”: Любезнейший, ты не в своей тарелке. Горе от ума[181].

В популярной литературе обычно указывают, что “тарелка” возникла в результате переводческой ошибки – смешения омонимов[182]. Так ли это?

Попыткам разобраться в истории этой идиомы уже больше ста лет. Обзор гипотез, в том числе самых причудливых, можно найти в старой книге В. М. Мокиенко “Образы русской речи”[183], неоднократно переиздававшейся. Любопытно, что Мокиенко считал автором идиомы Грибоедова, но обошел вопрос, как же Грибоедов – не только писатель, но и дипломат, блестяще владевший иностранными языками, – мог так ошибиться. Исследователь лишь вскользь обронил замечание о “шутливом колорите”.

На самом деле оба расхожих мнения, которые нашли отражение в книге Мокиенко, – что идиому ввел в оборот Грибоедов и что *assiette* в значении “тарелка” является “лишь омонимом, не имеющим никакого отношения к исходному смыслу французского фразеологизма”, – неверны. Во-первых, как недавно обнаружилось, русская версия фразеологизма бытовала еще в XVIII в.[184] Н. А. Полевой, оказавшийся столь плохим пророком в отношении галлицизма *делать карьеру*, тоже цитировал оборот *(не) в своей тарелке* как пример манерной речи “прошлого столетия”[185]. Ясно, что для современника Пушкина “прошлым столетием” могло быть только восемнадцатое.

Во-вторых, современные французы тоже понимают *assiette* как “тарелку”. Вот как начинается статья об этом фразеологизме на популярном сайте:

> De nos jours… quand on pense ‘assiette’, on pense généralement au plat individuel dans lequel on mange.
>
> В наши дни… когда мы думаем об *assiette*, мы обычно представляем себе персональную посуду, из которой едят[186].

Это понимание возникло не вчера – словарь 1785 г. приводит значения “положение” и “тарелка” в одной статье[187]. Очевидно, ученые Французской академии, где составлялся словарь, не считали эти слова неродственными омонимами. Для них “тарелка” и “положение” были значениями одного слова *assiette* наряду с несколькими еще.

Какая же связь между тарелкой и положением? Не такая далекая, как может показаться. В культуре европейской аристократии на протяжении многих веков очень болезненно воспринимался вопрос о том, как рассадить гостей на пиру. Место за столом соответствовало статусу. Ошибка в оценке статуса могла стоить разрыва отношений и даже жизни: древнеисландские саги сохранили истории о том, как оскорбленные гости хватались за меч. И не случайно стол легендарного короля Артура был *Круглым* – он символизировал

равенство королевских рыцарей. В Новое время, конечно, смертоубийство из-за места за столом было уже не принято, но конфуз все еще мог случиться немалый. Изначально *assiette* происходит от слова *asseoir* “садиться” и имеет целый спектр значений – от “манеры сидеть” до “отведенного места”. В застольной культуре Нового времени, когда из общего блюда на приемах больше не ели, индивидуальная тарелка стала указывать место, отведенное гостю. То, что слово *assiette* обозначает именно персональную тарелку, подчеркнуто в словаре 1785 г.: “род плоской посуды, которую ставят на стол перед каждой персоной”.

Итак, *не в своей тарелке* чувствовал себя тот, кто попросту сел не на свое место на званом обеде. И дело вовсе не в том, что русские дворяне, употреблявшие такой оборот, недостаточно знали французский язык, – есть все основания полагать, что французы уже в XVIII в. тоже слышали в этом выражении “тарелку”. Интересно, что русское и французское употребление этой идиомы со временем немного разошлись: когда мы говорим *чувствую себя не в своей тарелке*, мы подразумеваем смущение или неловкость, тогда как французы – скорее, дурное настроение или даже физическое недомогание.

Порой иностранное происхождение идиомы настолько стирается, что она ощущается как исконная, и даже возникают самобытные версии ее происхождения. Это случилось с выражением *откладывать (дела) в долгий ящик*. Происхождение его связывали с каким-то реальным историческим ящиком, в которые будто бы складывали челобитные при Алексее Михайловиче. На самом деле, как установил все тот же Мокиенко, эта идиома восходит к устаревшему немецкому *in die lange Truhe legen*. Речь шла действительно о долгом, то есть длинном, сундуке, только он не имел отношения к царствованию Алексея Михайловича – в такие сундуки складывали иски в средневековых немецких судах. В немецком этот оборот бытовал в XV–XVIII вв., а затем вышел из употребления, в русском же закрепился. Калька с него бытовала и в старочешском – *do dlúhé truhly založiti*, – но дольше XVII в. не продержалась[188].

Такие казусы, как *откладывать в долгий ящик*, демонстрируют ключевое свойство фразеологических заимствований: они сохраняют поразительную устойчивость при переносе из языка в язык, но при этом осваиваются принимающим языком до такой степени, что память об их происхождении может полностью утратиться. И даже в тех случаях, когда иностранное происхождение фразеологизма очевидно, носителям принимающего языка не нужно знать его исходный контекст, чтобы понимать смысл высказывания.

Среднестатистический носитель русского языка, скорее всего, догадывается, что *таскать каштаны из огня* и *перейти Рубикон* – нерусские идиомы (каштан отнюдь не типичное растение для нашего климата, а слово *Рубикон* не похоже на славянское), но ему вовсе не требуется знать басню Лафонтена и даже историческое происшествие с Юлием Цезарем, чтобы понимать смысл этих выражений.

Это главное отличие фразеологических заимствований от другого типа заимствований, который на первый взгляд выглядит похоже – но не работает без привязки к исходному контексту.

# 14. Левиафан, Фантомас и магистр Йода: В мире культурных аллюзий

Напоследок поговорим об особом типе заимствований, которые в большинстве случаев вообще ускользают от внимания составителей словарей и учебников, но тем не менее играют важную роль в языке. Носители языка свободно употребляют их, и они, как правило, интуитивно понятны посторонним читателям и слушателям (в отличие от внутрисемейных шуток или профессионального жаргона узких групп).

Когда вы слышите про кого-то, что он *настоящий Шерлок Холмс* или что в ресторане подают *гаргантюанские порции*, вы, скорее всего, без труда понимаете, о чем идет речь, – даже если не читали ни рассказов Артура Конан Дойля, ни романа Франсуа Рабле “Гаргантюа и Пантагрюэль”. Вы можете не быть поклонником Даниэля Дефо, но тем не менее говорить: *живу на даче робинзоном*. Эти слова оторвались от исходных литературных текстов и обрели вполне самостоятельное бытование – и, конечно, они заимствованные, потому что речь идет о персонажах английской и французской литературы. Мы используем их уже не для того, чтобы поговорить о произведениях данных авторов, а для описания действительности – так же как слова *компьютер* или *дежавю*, как идиомы *золотая молодежь* или *волк в овечьей шкуре*. И все-таки определенная разница между этими группами заимствований существует. Если заимствованное существительное *детектив* или *агент* называет объект (человека или род его деятельности) напрямую, то *Шерлок Холмс* – через посредство литературного произведения. В обычных отношениях слова с действительностью два участника – само слово и называемый им денотат. Сходным образом ведут себя фразеологизмы, которые нередко можно заменить одним словом или перифразом: *не в своей тарелке = неуютно, золотая молодежь = дети богатых родителей*. Но в случае с культурными аллюзиями участников три: слово (или более развернутый элемент речи) – памятник культуры, к которому оно отсылает, – та часть действительности, которую мы хотим охарактеризовать. Такое заимствование-аллюзию невозможно заменить синонимом, поскольку в нем важна именно отсылка к контексту. При этом, как уже говорилось, знать непосредственно сам культурный памятник не обязательно – достаточно иметь приблизительное представление, что это за произведение и о чем оно.

В отдельных, довольно редких случаях такие заимствования-аллюзии бытуют в языке очень долго и удостоились внесения в словари. Таковы слова *гамлет, гамлетизм, гамлетовский*[189], *донкихот, донкихотский, донкихотство, донкихотствовать*[190]. Они входят в русский язык еще в позапрошлом столетии и образованы, разумеется, от имен персонажей Шекспира и Сервантеса. Западная литература эпохи Ренессанса по-настоящему вошла в русский культурный обиход в XIX в. и была воспринята у нас своеобразно – на фоне специфических проблем русского общества и духовных поисков русской интеллигенции. Своеобразный документ этого процесса усвоения зарубежной классики – эссе И. С. Тургенева 1860 г. “Гамлет и Дон-Кихот”. Если верить Тургеневу, уже на момент написания статьи имя Дон Кихота “стало смешным прозвищем даже в устах русских мужиков. Мы в этом могли убедиться собственными ушами”. Даже если классик преувеличил познания русских мужиков (как тогда именовали крестьян), то в читающих кругах имя Дон Кихота, несомненно, уже приобрело статус общепонятной аллюзии. Текст Тургенева дает подробнейшие сведения о том, какое значение придавалось этим именам уже в позапрошлом веке:

> Что же представляет собою Гамлет? Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье. Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над

нами. Но это я, в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душою; он скептик – и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя – и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя – и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет, – и привязан к жизни…

‹…›

Дон-Кихот, бедный, почти нищий человек, без всяких средств и связей, старый, одинокий, берет на себя исправлять зло и защищать притесненных (совершенно ему чужих) на всем земном шаре. Что нужды, что первая же его попытка освобождения невинности от притеснителя рушится двойной бедою на голову самой невинности…

‹…›

Дон-Кихот любит Дульцинею, несуществующую женщину, и готов умереть за нее ‹…› Он любит идеально, чисто, до того идеально, что даже не подозревает, что предмет его страсти вовсе не существует; до того чисто, что, когда Дульцинея является перед ним в образе грубой и грязной мужички, он не верит свидетельству глаз своих и считает ее превращенной злым волшебником. Мы сами на своем веку, в наших странствованиях, видали людей, умирающих за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто, в котором они видели осуществление своего идеала и превращение которого они также приписывали влиянию злых, – мы чуть было не сказали: волшебников – злых случайностей и личностей.

Действительно ли персонажи Шекспира и Сервантеса именно таковы? По крайней мере с трактовкой Гамлета как “эгоиста”

можно было бы поспорить – русской интеллигенции XIX в. оказались чужды и непонятны проблемы родового долга чести феодального Средневековья и его конфликта с ренессансным гуманистическим мировоззрением[191]. Если вынуть эту проблематику из шекспировской пьесы, Гамлет, пожалуй, и правда превращается в зацикленного на собственных неврозах мямлю… Но это вопросы литературоведения, а не языка. Язык – не ученый-шекспировед, он усваивает аллюзии зачастую по первому поверхностному впечатлению. Тексты Шекспира и Сервантеса – лишь повод к тому, чтобы сформулировать новое понятие и назвать его; отталкиваясь от текстов, аллюзии начинают жить собственной жизнью. *Гамлетизм* и *донкихотство* принадлежат миру русскоязычной обыденной коммуникации, а не миру английской или испанской художественной литературы.

Этим словам повезло – их существование признают словари. Куда меньше, например, повезло слову *робинзон*, которое давно стало нарицательным в русском языке и породило производное *робинзонада*, но в общедоступных словарях, как правило, отсутствует. В большинстве случаев устойчивые культурные аллюзии существуют в своего рода “серой зоне” между словарной лексикой и цитатами. Дополнительную путаницу создает то, что мы называем цитатами как единичные уникальные отсылки к чужим текстам (например, когда ученый ссылается на выводы из статьи предшественника), так и вошедшие в обиход “крылатые выражения”, которые взяты из авторских литературных произведений, но по характеру своего бытования и по статусу в языке близки пословицам или поговоркам. Классический пример: *быть иль не быть?* – из того же “Гамлета”.

Между тем подобные аллюзивные элементы языка подчиняются всем тем же правилам, что и любые другие заимствования. Они могут попадать в язык путем транслитерации (*Гамлет, Шерлок Холмс, Франкенштейн*) или путем калькирования (*три мушкетера, затерянный мир, безумное чаепитие, страдания молодого Вертера*). Они могут менять семантику – так, выражение *дети-маугли* отсылает к известному персонажу Редьярда Киплинга, но смысл отсылки изменился едва ли не с точностью до наоборот. У Киплинга ключевая тема рассказов о Маугли – то, что человек, воспитанный дикими зверями, не просто сохраняет разум, но и превосходит в этом отношении поверхностно цивилизованных деревенских жителей. Но в русском языке словом *маугли* обозначают детей с тяжелой педагогической запущенностью, которые из-за недостатка общения с людьми навсегда остались умственно неполноценными. Аллюзии могут трансформироваться и на более

существенном уровне: например, *чудовище Франкенштейна* в современной речи часто автоматически влечет за собой продолжение – *убивает своего создателя*, хотя в романе Мэри Шелли Виктор Франкенштейн умирает естественной смертью.

Нетрудно догадаться, что Библия – особенно щедрый источник таких заимствований. Библейские аллюзии вошли в языки едва ли не всех стран, исповедующих христианство. (Среди стран, где это самая распространенная религия, есть такие неожиданные, как Республика Корея. Если эту книгу читает специалист по Южной Корее, автор просит поделиться наблюдениями – насколько распространены там в языке и культуре библейские аллюзии.) Мы сравниваем человека, на которого обрушилось много бедствий, с *Иовом*, а о любителях загорать голышом шутливо говорим: *в костюме Адама*. Любопытную историю имеет слово *Левиафан*, давшее название фильму Андрея Звягинцева (2014). В современной культуре оно ассоциируется с государственной машиной и именно в этом значении использовано режиссером. Но в Библии, конечно, такого значения нет. Библейский Левиафан – это какое-то крупное водное животное:

> Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его?
>
> *(Иов 40:20)*

Описанию этого существа посвящена вся следующая (41-я) глава книги Иова. Вплоть до XVII в. существовало только два понимания этого библейского образа: одно исходило из здравого смысла и предполагало, что левиафан (напомним, что в древности заглавные буквы не использовались, поэтому уже тут возникают разногласия) – имя нарицательное и обозначает попросту животное наподобие кита или крокодила. Или, в крайнем случае, дракона, в чью реальность долго верили. Левиафанами и в XIX в. называет китов Герман Мелвилл в романе “Моби Дик”. Второе, более экзотическое, состояло в том, что Левиафан и упомянутый с ним рядом Бегемот – имена демонов. Вот почему, кстати, персонаж “Мастера и Маргариты” получил имя *Бегемот*, хотя рифма со словом *кот* тоже сыграла не последнюю роль.

Но в 1651 г. в Лондоне вышла книга политического философа Томаса Гоббса, озаглавленная *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil* (“Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского”). Исторический период, в который появилась

книга, был весьма необычен для Англии – заканчивалась гражданская война, произошла беспрецедентная для Европы официальная казнь низложенного короля Карла I, Англия была объявлена республикой (республиканский эксперимент больше не повторится в ее истории никогда). По убеждениям Гоббс был монархистом. Можно было бы ожидать, что образ Левиафана, раз уж существовала традиция наделять его демоническими коннотациями, будет использован им для обличения Оливера Кромвеля и республиканцев. А вот и нет. У Гоббса Левиафан несет положительные коннотации и символизирует абсолютного монарха.

Гоббса принято считать основоположником теории общественного договора. Он первым выдвинул теорию договорного происхождения государства, согласно которой люди ради безопасности добровольно жертвуют своей свободой, делегируя ее органам власти. Однако, в отличие от последующих сторонников теории общественного договора, которые использовали эту модель как довод против абсолютизма, Гоббс настаивал на том, что абсолютизм – благо, поскольку только он, по мнению английского философа, может избавить общество от неразрешимого конфликта интересов. В качестве иллюстрации его основной идеи на фронтисписе первого издания изображена фигура короля в образе Левиафана – великана в чешуйчатых доспехах, возвышающегося над горизонтом.

Обсуждение политических взглядов Гоббса увело бы нас слишком далеко в сторону (например, как именно, по его мнению, народ дает всеобщее согласие на абсолютизм?). С точки зрения лингвистики, впрочем, необходимо ответить на вопрос, почему же Гоббс использовал столь неосторожное слово. Ведь очевидно, что он сам вложил республиканцам в руки оружие против себя. Многие республиканцы были пуританами, а это направление протестантизма славилось любовью к изучению Ветхого Завета. И конечно, они знали о традиции истолкования *Левиафана* как имени демона. Теперь они могли заявлять: “Вот, вы же видите, сами монархисты признали, что их король – бес!”[192]

Оказывается, Гоббс опирался на… лингвистику же. В XVI–XVII вв. благодаря Реформации в Европе сложилась развитая традиция филологического изучения древнееврейского оригинала Библии. Как, например, пишет современник Гоббса Джозеф Кэрил в комментариях к Библии, “*Leviathan* происходит от *Lavah*, что означает соединенный или спаренный”[193]. В своем объяснении Кэрил ссылается на библейское описание Левиафана: “…крепкие щиты его – великолепие; они скреплены как бы твердою печатью; один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними; один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются” (Иов 41:79). Речь идет о чешуе или щитках панциря. Кэрила, считавшего Левиафана китом, не смутило, что у кита их нет – почтенный пастор был несведущ в зоологии. Очевидно, метафора спаянности воедино и вдохновила Гоббса на столь двусмысленный образ[194]. Наполнить слово *Leviathan* положительными коннотациями у Гоббса, прямо скажем, не очень получилось, слишком сильна была традиция, ассоциирующая его с монстрами и демонами, и, вопреки намерениям английского мыслителя, это слово стало использоваться в обличительном значении. Особенно после опыта тоталитарных режимов XX в.

Вот какая длинная история стоит за названием фильма Звягинцева. С лингвистической точки зрения примечательна здесь двойная природа заимствования: в русский язык слово *Левиафан* как метафора государства попало не напрямую из Библии, а через английское посредство. Соответственно, и смысловое поле, к которому оно отсылает, не библейское, оно принадлежит английскому языку и английской культуре Нового времени.

И снова следует подчеркнуть, что, хотя подобные явления обычно не попадают в словари (за редким исключением вроде *донкихота*), они, как правило, служат предметом вполне сложившегося языкового консенсуса. Да, иногда понимание таких

культурных аллюзий требует некоторого уровня образованности – вряд ли сто процентов носителей русского языка с ходу поймут, что такое *Левиафан* в газетной статье, но чем это отличается от понимания технических терминов или субкультурного жаргона? Точно так же людей, понимающих смысл фразы *тоже мне, Шерлок Холмс*, наверняка статистически больше, чем тех, кто понимает значения слов *фьючерсы* или *эпигенетический*. Однако для словарей, как правило, эти языковые пласты невидимы[195].

Не только письменные памятники других культур влияют на наш язык. Вы открыли газету и читаете:

> Мы не можем требовать обеспечить каждую московскую школу верзилой-десантником, который способен обезоружить пятерых противников. Рэмбо других денег стоят, и их в природе мало, к счастью или сожалению[196].

Или вот такое:

> Как выяснили ученые, хомячки вовсе не являются этакими “рэмбо” в царстве грызунов. От остальных грызунов они отличаются лишь тем, что в ходе долгой эволюции у них выработался иммунитет и на боль, и на паралич, два главных составляющих яда скорпионов[197].

Очевидно, что слово *Рэмбо*, невзирая на разногласия корректоров (с заглавной буквы писать или строчной, в кавычках или без), употребляется здесь в некоем устойчивом значении и считается общепонятным. Хотя его, как и *робинзона*, в обычных словарях не найти. Столь же очевидно, что это слово – заимствованное: на пять букв – целых три признака нерусскости (и *э* оборотное, и несклоняемое *-о* на конце, и сочетание *мб*, которое для русской фонетики не слишком типично).

Полагаю, подавляющее большинство читателей немедленно догадывается, что это имя персонажа из кино – существует целая франшиза под названием “Рэмбо” с Сильвестром Сталлоне в главной роли, но российской аудитории больше всего известен первый по счету фильм, “Рэмбо: Первая кровь” (1982), впервые показанный в СССР в эпоху перестройки и мгновенно снискавший популярность. Даже те, кто не смотрел фильма, так или иначе наслышаны о нем и потому понимают смысл слова *Рэмбо*, употребляемого в нарицательном значении. Идея фильма – история ветерана вьетнамской войны, которого преследует государственная машина, – и его антивоенный пафос отошли на второй план, в культурное сознание россиян фильм вошел прежде

всего как история супергероя, этакого современного Ильи Муромца, который в одиночку побеждает множество вооруженных врагов. И это представление отразилось в употреблении слова *Рэмбо* – в прессе и художественной литературе.

С появлением кино и телевидения языки обрели новый канал обмена заимствованиями. Кинематограф с самого начала своего существования, еще до того, как он стал звуковым, стал активным проводником межкультурных взаимодействий. Уже немой кинематограф оставил в языке кое-какие следы. Так, слово *голем* в значении “искусственно созданного монстра” – наследие серии немых фильмов ужасов, снятых в Германии между 1915 и 1920 г. Средневековая еврейская легенда о глиняном человеке получила известность у широкой публики благодаря кино. (Эрудиты вспомнят роман Густава Майринка “Голем”, но его сюжет имеет довольно мало отношения к изготовлению искусственных монстров.) И все-таки настоящее влияние кинематографа на язык начинается тогда, когда на экраны приходит звучащая речь.

Мы называем удалого бойца *рэмбо* или даже *терминатором*, хотя еще каких-то тридцать лет назад слово *терминатор* в русском языке употреблялось лишь астрономами и имело одно значение – “граница дневных и ночных температур на планете”. Археолог, разгневанный грабительскими раскопками кургана, может ругнуться именем *Индианы Джонса* или *Лары Крофт* – пусть эти имена еще не стали нарицательными, но смысл высказывания будет понятен значительной части аудитории. Французский кинематограф 60-х подарил нам слово *Фантомас* (как шутливое прозвище лысых)[198] и даже *фантомасы* (как обозначение таинственных личностей):

> А еще здесь есть коллекция оружия, оставленного на месте громких преступлений. Например, самодельный автомат братьев Толстопятовых, знаменитых серийных грабителей, прозванных в народе “фантомасами”[199].
>
> Черную гущу мажут на все тело, прямо поверх купальника, даже на лицо и волосы! И гуляют по пляжу сплошные фантомасы[200].

Кинематограф дарит нашей речи не только имена персонажей. Например, у давно известного в русском языке слова *матрица* после выхода одноименного культового фильма братьев Вачовски (1999) появилось новое значение – “искусственно навязанной иллюзии, которая держит человека в плену”:

> Поскольку сами его персонажи слишком нуждаются в подтверждении своего всемогущества. Иначе как еще

доказать себе и другим, что твой Олимп – настоящий, а ты – не симулякр, призванный всего лишь поддерживать функционирование “Матрицы” и не имеющий ровным счетом никакой возможности конвертировать свои виртуальные капиталы в сколько-нибудь реальную власть? Впрочем, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят, а “матричность” происходящего вовсе не отрицает наличие обладателей действительно больших денег, заинтересованных в том, чтобы это шоу не только началось, но и продолжалось. Вот и в истории с Полонским обращает на себя внимание, что случилась она незадолго до рассмотрения Вестминстерским магистратским судом Лондона дела об экстрадиции другого набедокурившего российского бизнесмена – Владимира Антонова, которого власти Литвы обвиняют в крахе крупнейшего местного банка Snoras[201].

В российском футболе бесконечно мало естественности, природной натуральности. Куда большая часть – пресловутая матрица, цикличная игра, в которую никак не могут наиграться олигархи и правительство[202].

Что касается интернета, то запрос “выйти из матрицы” выдает тысячи результатов – от психологических тренингов до политической публицистики. Вот, к примеру, образец из бизнес-сферы:

> Тогда это был очень рискованный шаг. После десяти лет работы в крупных корпорациях “выйти из матрицы”, с руководящей позиции, с хорошим окладом без подготовки и подушек безопасности. Была только решимость, вера в себя и желание заниматься любимым делом. И мне катастрофически не хватало информации, как сделать этот переход грамотным. Как не разбиться о суровую реальность фриланса[203].

Один из самых курьезных и увлекательных случаев попадания лексики из иностранных фильмов в русскую речь – португальское слово *фазенда*. Думаю, читатели лет сорока и старше без проблем вспомнят, откуда оно взялось. Конечно, из бразильского телесериала “Рабыня Изаура”, пользовавшегося большим успехом в СССР конца 1980-х гг. В истории этого слова необычно буквально все. Во-первых, не так много в русском языке заимствований из португальского. Во-вторых, в телесериале действие происходит в XIX в. и как будто не имеет отношения к

современным реалиям. В-третьих, само это слово в русской озвучке сериала – результат, так сказать, редакторского каприза. Переводчик Константин Комков вначале собирался заменить непонятное русскому зрителю слово *фазенда* русским словом *поместье*, но редактор настоял на транслитерации без перевода[204]. В результате слово полюбилось россиянам как шутливое обозначение дачи. На сегодня Национальный корпус русского языка дает 42 примера употребления этого слова по основному корпусу (куда входят художественная литература и журналы) и 172 по газетному. Феномен успеха этого слова отмечает современная журналистка:

> В нашем языке не так уж много слов, которые прижились в последние тридцать лет, не будучи обозначением технических средств. Все как-то идет волна про Wi-Fi да айфон, но разве перекроют они тот факт, что после просмотра “Рабыни Изауры” в конце восьмидесятых страна, еще называвшаяся Советским Союзом, заучила слово “фазенда”[205].

И не просто заучила: в довершение всего, одним из хитов 90-х стала песня Сергея Рогожина “Фазенда”, а с 2006 г. выходит телевизионная программа для дачников с таким названием. Загадка популярности этого заимствования в русском языке еще ждет своего исследователя. Понятно ли оно, например, публике моложе тридцати лет? Не умрет ли оно в ближайшие десятилетия? Или, возможно, оно просто сменит статус и из культурной аллюзии окончательно превратится в теплый ламповый, что называется, жаргонизм, источник которого неважен?

Нередко мы не просто употребляем отдельные слова, но в буквальном смысле разговариваем цитатами из фильмов. Конечно, в каждой стране первое место по цитируемости занимает родной кинематограф – большинство носителей русского языка без дополнительных пояснений поймет фразы *Не виноватая я, он сам пришел!* или *Надо, Федя, надо!*[206] Однако и заимствованные цитаты проникают в речь. Пожалуй, одна из самых популярных цитат, разошедшихся по всему миру, – это *Hasta la vista, baby*[207] (“До свиданья, детка”) из “Терминатора-2” (1991). Этот пример особенно хорош для изучения истории заимствований, поскольку три слова из четырех – испанские, английское из них лишь последнее. Основной же язык фильма, снятого в США, разумеется, английский. То есть герой Арнольда Шварценеггера изначально использует иностранную лексику. А для кинозрителей неанглоязычных стран эта фраза –

заимствование в квадрате. Кроме тех стран, где говорят по-испански. Когда “Терминатор” вышел в прокат в Испании, переводчикам пришлось заменить испанскую фразу на… японскую. Испанский Терминатор говорил: *Sayonara, baby*. Необходимо было сохранить ощущение “иностранности”. Курьезным образом в испаноязычной версии для стран Нового Света оригинальная фраза осталась. В результате испанцам известен как оригинал цитаты, так и его “перевод”. Вариант же *Sayonara, baby* обрел самостоятельное бытование, в том числе в японской поп-музыке.

По неизвестной причине зрители полюбили цитировать “Терминатора” в оригинале: вот и *I’ll be back* у нас именно *I’ll be back*, а не *Я еще вернусь*. Однако чаще всего крылатые фразы из иностранного кино входят в зрительский быт в переводе. Например:

> Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. ← Bond. James Bond.
>
> Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать. ← Frankly, my dear, I don’t give a damn[208].
>
> Я собираюсь сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. ← I’m going to make him an offer he can’t refuse[209].
>
> Да пребудет с тобой Сила! ← May the Force be with you![210]

Франшиза “Звездные войны”, из которой взята последняя цитата, может смело считаться чемпионом влияния на русский язык среди иностранных фильмов. Мы рутинно используем в своей речи самые разнообразные элементы из “Звездных войн”:

- целые фразы – *Я твой отец!; Империя наносит ответный удар*;
- словосочетания – *перейти на темную сторону*;
- слова – *джедай*.

Вымышленная лексема *джедай* (англ. *Jedi*) уже давно вошла в русский язык на правах полноценного слова и служит не только красочным эпитетом наподобие *рэмбо*, но и средством самоидентификации:

> В прошедшем 2011 году губернатор Игорь Слюняев оказался в центре Интернет-скандала, связанного с изъятием сотрудниками силовых ведомств сервера популярного в области “Форума Костромских джедаев”. В качестве одной из неофициальных причин временного закрытия форума называлась чрезмерную критику в адрес губернатора, которую позволили себе участники форума[211].

А научно-просветительский форум “Ученые против мифов” присвоил антропологу Станиславу Дробышевскому, научному редактору портала “Антропогенез.ру”, титул *Джедая науки*[212]. Портрет Дробышевского в кинообразе джедая – со световым мечом – стал официальной эмблемой форума.

Очевидно, что *джедай* несет несколько иные коннотации, чем *рэмбо* или *терминатор*. Во-первых, это коннотации не столько супергеройства и способности к удалому мордобою, сколько готовности бороться за правду. Героизм джедая имеет прежде всего моральную природу. Во-вторых, джедай – не богатырь-одиночка, а член братства. Человек, называющий себя *джедаем*, тем самый провозглашает, что действует не своевольно, а от

имени сообщества. Поэтому, если слова *рэмбо* и *терминатор* неизбежно несут оттенок сарказма, то *джедай* может восприниматься как комплимент без тени иронии.

И, конечно, необходимо упомянуть еще один языковой слой “Звездных войн” – синтаксический. Невероятное построение фраз, которое использует магистр Йода, запоминается с первого просмотра:

> Им помешать – задача главная. Зрелый только джедай, чей союзник Сила, сразится с Вейдером и Императором. Обучение прервешь – путь выберешь быстрый и легкий, как Вейдер, слугой зла станешь ты[213].
>
> Смерть – это жизни естественная часть, радуйся за близких своих, которые в силу преобразовались, не оплакивай их, и о них не горюй, ведь к ревности приводит привязанность, а ревность – это алчности тень…[214]
>
> Когда тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты[215].

В оригинале Йода также разговаривает синтаксически инвертированными фразами, которые уже становились предметом интереса лингвистов[216]. Однако, поскольку в английском языке более жесткий порядок слов, чем в русском, многие реплики Йоды при буквальном переводе на русский становятся нормальными:

> Truly wonderful, the mind of a child is.
>
> Буквальный перевод: *Воистину удивителен ум ребенка.*
>
> В фильме: *Воистину удивителен ребенка разум.*

Как мы видим, переводчику приходится дополнительно “поломать” фразу в другом месте, чтобы сохранить впечатление “странности”, “вывернутости” речи.

С этой задачей переводчики справились настолько успешно, что речевой стиль магистра Йоды сделался брендом. Он используется в интернет-мемах, в рекламе, в блогах и на форумах:

> синтаксис этот не нужен тебе
> к темной стороне ведет он[217]
>
> Один ли я столкнулся с тем, что анкоры генерить следует не так, как привыкли мы, а так, как мастер Йода

говорит обычно? Чтобы все слова ключевые были перемешаны в стиле его речей заумных и тогда результат приносит покупка ссылок больший намного и фильтры спамности анкоров листа минуют сайт продвигаемый.

Да прибудет с вами сила.

Примеры:

интернет магазин одежды детской

для малышей одежда в магазине интернет

honda ремонт недорогой

дома из бруса клееного[218]

Вычисления проводя, ряд допущений сделаны Реттом Аллейном были: на планете Дагоба устроена гравитация также была, и на Земле как. Люка Скайуокера, джедая молодого, масса также распределяется, и у землянина как рядового, пусть и инопланетянин он. Предположил блогер еще, что ни Йода, ни Люк, силой не пользовались в тренировки ходе, полагаясь лишь на силу физическую[219].

Не обошелся без синтаксической игры и газетный заголовок о смешной фотографии коалы:

На магистра Йоду похожа коала эта[220]

В 2017 г. репликами Йоды заговорил Яндекс-навигатор[221]. Создана даже программа “перевода” с обычного русского языка на “язык Йоды”[222]. Кроме того, именем магистра Йоды стали ругать авторов, пишущих тексты с неуклюжим синтаксисом[223].

Казус “Звездных войн” – замечательная иллюстрация того, что *из одного языка в другой заимствования к словам не сводятся отнюдь*.

# Заключение

Мы только что совершили путешествие по вселенной языковых заимствований. Его можно назвать обзорной экскурсией – ведь на самом деле оно могло длиться во много раз дольше. На нашей планете несколько тысяч языков, и, по-видимому, во всех этих языках имеются заимствования: когда полевые лингвисты добираются до затерянных в джунглях первобытных племен, обнаруживается, что и те усваивают многое от соседей. Составить полную энциклопедию всех языковых заимствований даже в наш век больших объемов данных и сверхмощных компьютеров пока еще, наверное, никто не возьмется.

Но я надеюсь, что такая обзорная экскурсия хотя бы немного поможет вам ориентироваться в этой вселенной и избавиться от некоторых стереотипов. Например, понять, что сама постановка вопроса: “Нужны ли заимствования в языке, и до какой степени нужны, и надо ли с ними бороться?” – в корне ошибочна. Она исходит из обывательского представления, будто стоит кто-то на границе между языками и приподнимает шлагбаум, время от времени пропуская нужные слова наподобие *фрак* и *атом* (ибо что поделаешь, места вакантны) и наставляя пистолет на нежелательных мигрантов вроде *конесанса*[224] или *крие́йтора*. В этой книге я постаралась показать, что в реальности межъязыковые взаимодействия работают не так.

Чтобы оградить язык от заимствований, понадобилось бы вычеркнуть как минимум тысячу лет истории народа, что не удалось даже исландцам – например, христианское понятие “рай” передается греческим по происхождению словом *paradís*, поскольку в исконном исландском словаре не было подходящего слова. (Кстати, и в греческом это слово не исконное – у него иранские корни.) Да и не факт, что при вычеркивании сколь угодно длительных периодов истории, при попытках добраться до самых глубоких корней мы бы обнаружили язык без заимствований – даже в праиндоевропейском языке они, по-видимому, были[225]. И по правде говоря, это неудивительно, ведь индоевропейцы обошли всю Евразию и сталкивались на пути со множеством других народов.

Скажу больше: взаимообмен – признак того, что язык живет, развивается и служит для реального общения. Даже в “мертвых” языках наподобие латыни есть заимствования – как древние, восходящие к той эпохе, когда на латыни разговаривали обычные римские торговцы и солдаты, так и новые, введенные в

Средневековье, когда латынь стала языком письменного общения элит. Нет заимствований только в полностью искусственных языках – редким исключением стал эсперанто, который, в отличие от большинства искусственно сконструированных языков, продемонстрировал способность к живому развитию, и одним из признаков этого развития стало появление заимствованных слов, например, из английского. Впрочем, даже столь успешный искусственный язык, как эсперанто, пока еще не стал ни для кого родным – бабушки не напевают на нем колыбельные, укачивая внуков, подростки не рассказывают анекдотов за гаражом. А вот креольские языки, которые исторически ненамного старше эсперанто, стали родными языками множества людей, которые говорят на них с детства. Их никто не выдумывал – они родились естественным путем из скрещения разных языков при межнациональном общении. Самим своим происхождением они обязаны заимствованиям[226].

Так что же получается – язык способен быть родным только тогда, когда в нем есть заимствования? Конечно, ведь иначе бы мы и не понимали, что он родной. Как небезосновательно полагал крупнейший русский философ XX в. М. М. Бахтин, мы способны по-настоящему осознать себя только через Другого. Человек как личность реализуется только в общении с кем-то (помните историю Айртона в “Таинственном острове” Жюля

Верна?). История языков замечательно иллюстрирует эту мысль. Язык реализуется только в общении, а заимствования – признак того, что общение успешно работает.

**notes**

# Сноски

# 1

Еськова Н. А. Популярная и занимательная филология. – М.: Флинта: Наука, 2004. – С. 33–36.

## 2

См. напр.: Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. – М.: Айрис: Рольф, 1996. С. 73–79; Рахманова Л. И., Суздальцева В. Н. Современный русский язык: Учебное пособие. – М.: МГУ: ЧеРо, 1997. – С. 206–211; Галь Н. А если без них? // Галь Н. Слово живое и мертвое. Изд-е 7-е. – М.: Время, 2007. – С. 44–73; Ланчиков В. К. Семь заблуждений относительно заимствований // Мосты. 2005. № 4 (8). – С. 32–42; Гудков Д. Б., Скороходова Е. Ю. О русском языке и не только о нем. – М.: Гнозис, 2010. – С. 133–134; Левонтина И. Б. Русский со словарем. – М.: Corpus, 2016. – С. 167–213.

# 3

Форум “Ученые против мифов”, состоявшийся 28 января 2017 г. Запись лекции С. А. Бурлак доступна по адресу: [https://youtu.be/ehRpfWMx8Io], доступ на 20.12.2019. Она стала известна мне, когда первые четыре главы книги были уже написаны.

Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – М.: Corpus, 2008.

Левонтина И. Б. О чем речь. – М.: Corpus, 2015.

Виноградов В. В. История слов: около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных / Отв. редактор Н. Ю. Шведова. – М.: Толк, 1994.

# 7

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Изд. 4-е / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. – М.: АСТ; Астрель, 2004. Более раннее издание доступно онлайн: [https://lexicography.online/etymology/vasmer/].

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка. В 2 т. Изд. 5-е. – М.: Рус. яз., 2002.

## 9

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. – М.: Айрис: Рольф, 1996. – С. 78; Рахманова Л. И., Суздальцева В. Н. Современный русский язык: Учебное пособие. – М.: МГУ: ЧеРо, 1997. – С. 207, прим. 1; Галь Н. А если без них? // Галь Н. Слово живое и мертвое. Изд-е 7-е. – М.: Время, 2007. – С. 46; Гудков Д. Б., Скороходова Е. Ю. О русском языке и не только о нем. – М.: Гнозис, 2010. – С. 133.

Тынянов Ю. Н. Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. – Л.: Прибой, 1929. – С. 87–227.

# 11

Проскурин О. А. У истоков мифа о “новом слоге” // Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. – М.: О. Г. И., 2000. – С. 19–46.

Стеблин-Каменский М. И. Язык // Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. – Л.: Наука, 1967. [http://norse.ulver.com/articles/steblink/culture/language.html] – Доступ на 27.03.2020.

## 13

О ее деятельности см., например: Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – М.: Языки славянской культуры, 2008. – С. 15–16.

Assayag, Gérard. Computeur: les cahiers de médiologie // Révolutions industrielles de la musique. 2004. [https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01161324/file/index.pdf]. – Доступ на 27.03.2020.

## 15

О слове *книга* см.: Львов А. С. Иноязычные влияния в лексике памятников старославянской письменности (тюркизмы) // VII международный съезд славистов. Славянское языкознание. – М.: Наука, 1973. – С. 218–220.

Альтернативная точка зрения: Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I–V. М. – Л., 1958–1995. Т. I. – С. 596.

## 16

Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – С. 37–38, 46–47; Левонтина И. Б. О чем речь? – С. 20–21; 29–30; 94–95 и др.

## 17

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык: Учебное пособие для вузов. – М.: Рольф: Айрис-пресс, 1997. – С. 72.

# 18

Гудков Д. Б., Скороходова Е. Ю. О русском языке и не только о нем. – М.: Гнозис, 2010. – С. 135–136.

# 19

Надо отметить, что английское слово to kill в принципе более нейтрально, чем русское *убивать*, которое имплицитно подразумевает аморальность. Мы стараемся избегать этого слова, когда речь идет о законной деятельности: фермеры не *убивают* скот, а *забивают*, охотники не *убивают* дичь, а *добывают*. В английском языке во всех этих случаях нормально использовать глагол *to kill*. Правда, в недавнее время из-за чувствительности к вопросу прав животных появилось жеманное именование забоя скота *harvesting* “жатва”

Strenge, Gesine. *Mediated Metadiscourse: Print Media on Anglicisms in Post-Soviet Russian*. The University of Edinburgh, 2012. P. 54; Gottlieb, Henrik; Furiassi, Cristiano. *Pseudo-English: Studies on False Anglicisms in Europe*. Berlin: Walter de Gruyter, 2015. P. 23.

http://22century.ru/popular-science-publications/loanwords – Доступ на 27.03.2020.

http://22century.ru/popular-science-publications/vernacular-slang-andstandard-language – Доступ на 27.03.2020.

## 23

Анализ феномена страха перед новизной см.: Петросян А. Э. Умственная “слепота” (корни невосприимчивости к новым идеям) // Социология науки и технологий. 2012. Т. 3. № 3. – С. 24–42.

Котенкова Е. В., Мешкова Н. Н., Шутова М. И. О крысах и мышах. – М.: Наука, 1989. – С. 77–80.

# 25

Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – М.: Языки славянской культуры, 2008. – С. 16.

Durkin, Philip. *Borrowed Words: A History of Loanwords in English*. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 37.

# 27

В настоящее время само понятие “истерия” считается научным мифом: к концу 1980-х гг. это название было исключено из международной классификации болезней.

# 28

Русский язык: Энциклопедия. Изд. 2-е / Под ред. Ю. Н. Караулова. – М.: Дрофа, 1997. – С. 132.

# 29

Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Становление литературы. – Л.: Наука, 1984. – С. 45.

# 30

Further Considerations on Approaches to Medieval Literature // Стеблин-Каменский М. И. Труды по филологии. – СПб.: СПбГУ, 2003. – С. 846.

# 31

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык: Учебное пособие для вузов. – М.: Рольф; Айрис-пресс, 1997. – С. 72.

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. – С. 62–67.

# 33

Там же. – С. 72.

На эту тему см.: Монтанари М. Голод и изобилие: История питания в Европе / Пер. с итал. А. Миролюбовой. – СПб.: Alexandria, 2009. – 279 с.

Burchfield R. *The English Language*. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 18.

# 36

Более современное и подробное исследование на тему истории названий мяса в английском языке см. в статье: Őrsi, Tibor. ‘Cow versus Beef: Terms Denoting Animals and Their Meat in English’, *Eger Journal of English Studies XV* (2015). Pp. 49–59.

## 37

Косвенным подтверждением “гипотезе сентиментальности” служит то, что этот процесс затронул только названия млекопитающих. Курица и рыба остались курицей и рыбой (*chicken, fish*). Людям свойственно больше сопереживать млекопитающим, чем птице или рыбе. См. подробное исследование на эту тему: Herzog, Hal. *Some We Love, Some We Hate, Some We Eat*. New York: Harper Collins, 2010. 326 pp. (русский перевод: Херцог Хел. Радость, гадость и обед / Пер. с англ. И. Ющенко. – М.: Карьера Пресс, 2011. – 384 с.). Херцог, в частности, описывает казус вегетарианки, которая ела рыбу, отказываясь считать ее животным.

# 38

Толстая Т. На липовой ноге // Толстая Т. День. – М.: Подкова, 2001. – С. 447. Статья *Blini* в англоязычной “Википедии” дает, однако, описание обыкновенных блинов.

# 39

Дойчер Г. Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе / Пер. с англ. Н. Жуковой. – М.: АСТ, 2014.

Martin, Laura. '"Eskimo Words for Snow": A Case Study in the Genesis and Decay of an Anthropological Example', *American Anthropologist, New Series*, Vol. 88, No. 2 (Jun., 1986). Pp. 418–423.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. А. Д. Шмелёва. – М.: Языки славянской культуры, 2001.

# 42

Келли К. [Рец. на: ] А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. Ключевые идеи русской языковой картины мира. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 544 с.; Л. Гудков. Негативная идентичность. – М.: Новое литературное обозрение, ВЦИОМ-А, 2004. – 816 с. // Антропологический форум. 2007. № 6. – С. 396–413; Павлова А. В. Переводимость в переводоведении и лингвокультурологии // Acta Linguistica. 2011. Vol. 5. – С. 3–21; Серио П. Оксюморон или недопонимание? Универсалистский релятивизм универсального естественного семантического метаязыка Анны Вежбицкой / Пер. с франц. Е. Е. Аникина // Политическая лингвистика, 2011. № 1 (35). – С. 30–40; Павлова А. В., Прожилов А. В. От лингвистики к псевдолингвистике // Антропологический форум. 2013. № 18. – С. 89–109.

# 43

На самом деле, хотя эта конструкция утрачена в современном английском, она существовала в древнеанглийском. Лирический герой поэмы VIII в. “Видение о Кресте” сообщает: *mē gemǣtte*, что буквально соответствует русскому “мне приснилось”.

Об истории этой идеи см.: Павлова А. В., Прожилов А. В. От лингвистики к псевдолингвистике // Антропологический форум. 2013. № 18. – С. 101–103. Подробно о природе безличных предложений с научной критикой вежбицкианства: Золотова Г. А. Понятие личности / безличности и его интерпретации // Russian Linguistics, 2000. Vol. 24, No. 2. Pp. 103–115.

# 45

Серио П. Оксюморон или недопонимание? Универсальный релятивизм универсального естественного семантического метаязыка Анны Вежбицкой / Пер. с франц. Е. Е. Аникина // Политическая лингвистика, 2011. № 1 (35). – С. 35.

К этому сомнению его подтолкнуло обилие архаических элементов грамматики в языке исландцев нашего времени, которые свободно говорят не только “мне приснилось”, но и “мне взглянулось” и т. д. Между тем в разнице мышления современных исландцев и древних викингов сомневаться не приходится. См.: Стеблин-Каменский М. И. Язык // Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. – Л.: Наука, 1967. [http://norse.ulver.com/articles/steblink/culture/language.html] – Доступ на 27.03.2020.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка [http://vasmer.lexicography.online/]– Доступ на 27.03.2020

## 48

Современный толковый словарь русского языка / Под ред. – С. А. Кузнецова. – СПб.: Норинт, 2001. – С. 840. Слово приводится с пометой *разг. – сниж*.

## 49

Старшее поколение, вероятно, вспомнит слово *перепихиваться*, которое не столь грубо звучит. Однако по ряду причин оно менее удачно: оно не имеет активной формы (нельзя *перепихнуть* кого-то) и недостаточно универсально (оно несет оттенок ленивой необязательности и в применении к страстным свиданиям, а тем более супружеской жизни женатой пары, выглядело бы неуместно).

Слово *fair* в значении светлого цвета волос, кажется, тоже становится архаизмом – носители английского языка, по моим наблюдениям, в быту всё чаще используют французское заимствование *blond*.

Левонтина И. Б. Русский со словарем. – С. 167–215.

## 52

Тогда бы этот глагол спрягался: *трячу, третишь* и пр. – по аналогии с *лечу, летишь*.

# 53

Строго говоря, во французском языке нет ударения в нашем понимании (то есть фиксированного ударения в слове), однако для русского уха система французского ударения воспринимается как “правило последнего слога”.

# 54

Сокровище, удовольствие, цвет, храбрость, деревня (значения всех приведенных пар в английском и французском совпадают).

Национальный корпус русского языка [http://ruscorpora.ru].

Хотя в праиндоевропейском такие слова существовали.

Рахманова Л. И., Суздальцева В. Н. Современный русский язык: Учебное пособие. – М.: МГУ: ЧеРо, 1997. – С. 175.

## 58

Оглушение согласных началось в русском языке с XIII в., а оглушение В > Ф впервые засвидетельствовано на письме в начале XVII в., причем писцы могли использовать букву “фита”. См.: Горшкова К. В., Хабургаев Г. А. Историческая грамматика русского языка. – М.: Высш. школа, 1981. – С. 75–76; Галинская Е. А. Историческая фонетика русского языка. Изд-е 2-е. – М.: МГУ, 2009. – С. 98–99.

Богданов С. В. Название “Тверь” и “Тверца” в письменных источниках. 2005. – Доступ на 27.03.2020. [http://russianchange.narod.ru/num/tfer.html].

Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1: А – К. – СПб., 1893.

# 61

Галинская Е. А. Историческая фонетика русского языка. – С. 146–147.

Гилазетдинова Г. Х. Фонетическая адаптация ориентализмов в русском языке XV–XVII вв. // Ученые записки Казанского университета. 2010. Т. 152, кн. 6. – С. 14–19.

## 63

О букве Э см.: Щерба Л. В. Теория русского письма. – Л.: Наука, 1983. – С. 69–70.

Пушкин А. С. Опровержение на критики и замечания на собственные сочинения // Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 6. – М.: ГИХЛ, 1959– 1962. – С. 347.

Совсем уж наивна гипотеза, связывающая выражение “малиновый звон” с синестезией (цветовым восприятием звука). Процент людей-синестетов невелик, и к тому же разные личности “видят” один и тот же звук в разных цветах. Достоверных примеров влияния синестезии на общеупотребительный словарный запас языка не имеется.

## 66

О вымирании готского языка см.: Гухман М. М. Готский язык. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1958. – С. 12–13.

Верблюд // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка [https://vasmer.lexicography.online]. См. также: Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. Т. 1. Изд-е 5-е. – М.: Рус. яз., 2002. – С. 142. Оба автора говорят о “хамитских” языках, в наше время этот термин считается устаревшим (языки, раньше называвшиеся “хамитскими”, теперь включены в афразийскую макросемью).

# 68

Формально немецкое *blanko* – прилагательное, но в качестве отдельного слова не встречается, а только в составе нескольких сложных слов.

# 69

Английский язык имеет отдельное название для марокканских мандаринов, которые считаются принадлежащими к другому виду – *tangerine*. Генетика цитрусовых, однако, весьма запутанна из-за многократной гибридизации.

## 70

О глазчатых бусах см., например: Мошеева О. Н. Глазчатые бусы // Российская археология, 2008. № 4. – С. 23–33; Львова З. А. Стеклянные бусы Старой Ладоги как исторический источник. 2008. [http://chernov-trezin.narod.ru/ZLATA_LVOVA.htm] – Доступ на 27.03.2020.

## 71

Фасмера озадачил компонент “вал”, отсутствующий в нидерландском слове. Английское название штурвала steering wheel осталось ему, по-видимому, неизвестным.

## 72

О тиктаалике можно прочесть: Шубин Нил. Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времен до наших дней / Пер. с англ. – М.: Астрель: Corpus, 2015. – С. 22–25.

## 73

Левонтина И. Б. О чем речь. – С. 177. На самом деле употребление слова *кофе* в среднем роде еще на полтора века старше, о чем читатель узнает далее в этой главе.

Какого рода слово “кофе”? Он или оно? 12 дек. 2014 [https://vk.com/topic-39321576_30873085]; Какого рода кофе? [https://kofegood.ru/kofeinteresno/kakogo-roda.html]; сходного содержания: Кофе – он или оно? [http://www.kaffein.ru/thats_he.shtml] – Доступ на 27.03.2020.

Рогозинская А. Какого рода слово кофе? [http://kofella.net/vse-okofe/kakogo-roda-slovo-kofe.html] – Доступ на 27.03.2020.

Герман Ф. Л. Как лечились московские цари: (Мед. – ист. очерк). – Киев; Харьков: Ф. А. Иогансон, [1895]. – С. 137.

# 77

Латышев Л. К., Семёнов А. Л. Перевод: Теория, практика и методика преподавания / 3-е изд. – М.: Академия, 2007. – С. 61–62 (разобран пример из “Трех товарищей” Э. М. Ремарка).

## 78

Допускается вариативно мужской и средний род. См.: Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесова; Изд. 6-е. – М.: Русский язык, 1997. – С. 245.

Там же. – С. 209.

Англо-русский и русско-английский словарь “ложных друзей переводчика” / Сост. В. В. Акуленко, С. Ю. Комиссарчик. – М.: Советская энциклопедия, 1969; Англо-русский словарь “ложных друзей переводчика” / Сост. К. В. Краснов. – М.: Изд-во “Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской”, 2004; Словарь “ложных друзей переводчика” (русско-немецкий и немецко-русский) / Сост. К. Г.М. Готлиб. – М.: Советская энциклопедия, 1972 и др.

Вязников П. “Лампы рта его…” // Если, 1998. № 7. – С. 253–255. [http://correctura.narod.ru/perambulator.htm] – Доступ на 27.03.2020.

## 82

Вкратце об этом см.: Бернштейн С. Б. Праславянский язык // Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Ю. Н. Караулова; Изд. 2-е. – М.: Дрофа, 1997. – С. 365–366; библиографию см. там же.

# 83

Об истинной и совершенной радости / Пер. с лат. Е. Широниной // Св. Франциск Ассизский. Сочинения. – М.: Изд-во францисканцев конвентуальных, 1995. – С. 75 (латинский текст на с. 74).

См. напр. Webster’s School Dictionary. Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster, 1986. P. 33; современные сведения: [https://en.wikipedia.org/wiki/Angina_(disambiguation)] – Доступ на 27.03.2020.

# 85

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона / Под ред. И. Е. Андреевского. Т. 1а. Алтай – Арагвай. – СПб., 1890. – С. 729–730.

Из литературы по теме см. напр.: Granger, Sylviane, and Helen Swallow. “False friends: a kaleidoscope of translation difficulties.” *Langage et l’Homme*. 1988. 23, No. 2. Pp. 108–120; Inkpen, Diana, Oana Frunza, and Grzegorz Kondrak. “Automatic identifi cation of cognates and false friends in French and English.” In *Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing*. 2005. Vol. 9. Pp. 251–257.

См. это значение слова concurrence в словарной статье (на французском): [http://www.cnrtl.fr/definition/concurrence] – Доступ на 27.03.2020.

Популярное изложение общих сведений об ономастике см.: Успенский Л. В. Ты и твое имя. – М.: Дет. лит., 1972 (переизд.: М.: Астрель, 2008). Эта работа была и остается очень качественным введением в ономастику для начинающих.

Фёдорова Е. В. Имена в античных латинских надписях // Введение в латинскую эпиграфику. – М.: МГУ, 1982. – С. 85–101.

Полонский Д. Г. Самоуничижительная модификация имен “иноземцев” под пером русских приказных конца XVI–XVII вв. // Именослов. История языка. История культуры / Отв. ред. Ф. Б. Успенский. – М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2012. – С. 81–112.

# 91

Зализняк А. А. Древненовгородский диалект / Изд. 2-е. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 204–216. Интересующиеся этой темой могут также обратиться к порталу http://gramoty.ru, на котором выложена большая часть полных текстов найденных берестяных грамот.

# 92

Гайдуков П. Г., Калинин В. А. Древнейшие русские монеты // Русь в IX–XI веках: археологическая панорама / Ин-т археологии РАН; отв. ред. Н. А. Макаров. – Москва; Вологда: Древности Севера, 2012. – С. 415–412 (с фотографиями монет).

Успенский Ф. Б., Литвина А. Ф. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. – М.: Индрик, 2006.

Письмо болгарки из статьи: Котрелев Ф. Чужое имя. Злоключения болгар в России. 5 мая 2008. [http://www.nsad.ru/articles/chuzhoe-imya] – Доступ на 15.12.2019.

## 95

См. напр.: Кравченко И. А. Наречение христианским именем в Исландии XI–XIV вв. // Именослов. История языка. История культуры / Отв. ред. Ф. Б. Успенский. – М.: Рус. Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. – С. 34–54.

Ерёмин И. П. Из истории древнерусской публицистики XI века // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 2. – М.; Л., 1935. – С. 23.

Успенский Ф. Б. Варяжское имя в русском языковом обиходе: к этимологии слова “олух” // Успенский Ф. Б. Скандинавы. Варяги. Русь: Историко-филологические очерки. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – С. 124–127.

Голикова Т. А. Тюркская антропонимия (обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 6, Языкознание: Реферативный журнал, 2011. № 4. – С. 157–176.

Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды / Под ред. Г. В. Глазыриной и Т. Н. Джаксон. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011. – С. 114.

# 100

О том, заимствовано ли западноевропейское имя *Valdemar/ Waldemar* из русского *Владимир* или выводится из германских корней, идут ожесточенные споры. Но первый его носитель среди датских королей, Вальдемар I, был родным правнуком Владимира Мономаха и, по-видимому, получил имя в честь прадеда.

# 101

Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 3. 1964–1966. – М.: Согласие, 1997. – С. 189.

# 102

Мнение самих итальянцев о происхождении этого слова см.: Pianigiani, Ottorino. Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana [https://www.etimo.it/?term=ammainare]. – Доступ на 14.09.2019.

# 103

Бугай Н. Ф., Коцонис А. Н. “Обязать НКВД СССР… выселить греков” (о депортации греков в 1930–1950 годы). – М.: ИНСАН, 1999.

# 104

Три класса местоимений – местоимения-существительные, место- имения-прилагательные и местоимения-числительные – общепризнаны. По поводу таких слов, как когда или как, нет единого мнения – относить ли их к местоимениям (и тогда это местоимения-наречия) или к наречиям (тогда они определяются как местоименные наречия).

Campbell, Lyle. “Problems with the pronouns in proposals of remote relationships among Native American languages”. In Margaret Langdon, ed. *Proceedings of the meeting of the Society for the Study of Indigenous Languages of the Americas and the Hokan – Penutian workshop*. Berkeley: University of California at Berkeley, 1994. P. 4.

Blokland, Rogier. “Borrowability of pronouns: Evidence from Uralic.” *Finnisch-Ugrische Mitteilungen*. Bd. 35 (2012). S. 3.

Thomason S. G., Everett D. L. “Pronoun Borrowing”, *Proceedings of the Berkeley Linguistic Society*. Vol. 27. 2001. P. 303.

Там же. P. 307.

# 109

Там же.

# 110

Хрусталёва Светлана. У Людмилы Гурченко – надежный тыл // Комсомольская правда, 2004.03.10. Здесь и далее газетные примеры взяты из Национального корпуса русского языка.

Чернов Игорь. Под знаком льна // Труд, 2000.11.30.

# 112

Мишулин Спартак. Говорит и показывает Москва // Столица, 1997.03.18.

# 113

Покорный общему закону // Театральная жизнь, 2003.04.28.

# 114

Фомина Оксана. Коленки Ирины Зайцевой лучше, чем Зюганов с гармошкой? // Комсомольская правда, 2002.10.04.

# 115

Конечно, портные не исчезли ни в советское, ни в постсоветское время, но клиенты обычно сами забирают у них вещи, так что *от портного* – архаизм (поиск по Национальному корпусу показал, что, например, между 1920 и 1990 гг. это словосочетание встречается главным образом в исторических романах и мемуарах о дореволюционной жизни).

Masaharu Shimada, Akiko Nagano. Use of English prepositions as Japanese predicates: A challenge to NLP // Proceedings of the Annual Meeting of the Association of Natural Language Processing, 2017. Vol. 3. Pp. 294–297 [https://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2017/pdf_dir/D2–3.pdf].

Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда это сознательный стилистический прием – например, для передачи разговоров духовенства.

Egedi B. “Greek Loanwords and Two Grammatical Features of Pre-Coptic Egyptian”, *Proceedings of the 10th International Congress of Egyptologists*, University of the Aegean, Rhodes 22–29 May 2008. Vol. 2. Leuven – Paris – Bristol: Peeters, 2015. Pp. 1333–1344. Популярно о коптском и греческих заимствованиях в нем: Сперанская Н. Коптский магический кодекс. 05.11.2019 // Элементы [https://elementy.ru/kartinka_dnya/1014/Koptskiy_magicheskiy_kodeks] – Доступ на 05.11.2019.

Stolz, Thomas. “The Mutual Influence of Spanish and the Andean Languages: The Other Kind of Transpacifi c Isoglosses”, Amerindia, 1996. No. 12. Pp. 137–156.

Колесникова С. М. Разграничение частиц и междометий в предложении-высказывании // Преподаватель XXI век, 2012. № 4. – С. 319.

# 121

Грамматика русского языка. Т. 1: Фонетика и морфология / Под ред. В. В. Виноградова, Е. С. Истриной, С. Г. Бархударова. – М.: АН СССР, 1960. – С. 638–649; более современный обзор см.: Частица // Русский язык: Энциклопедия. Изд-е 2-е / Под ред. Ю. Н. Караулова. – М.: Дрофа, 1997. – С. 620–621 (библиография на с. 622).

Hardman-De-Bautista M. J. The mutual influence of Spanish and the Andean languages, Word, 1982, 33:1–2. Pp. 150–151.

# 123

О проблемах, связанных с работой ИИ, см., например: Анатолий Гершман. Заблуждения искусственного интеллекта. 27 сентября 2017 г. [https://postnauka.ru/faq/80051] – Доступ на 27.03.2020.

[https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=68336] – Доступ на 26.11.2019.

# 125

Если это слово вам все-таки попалось в русском тексте, то это недобросовестная калька с английского. В английском слово journalism существует.

Dressman, Michael R. “The Suffi x-Ist”, *American Speech*, Vol. 60, No. 3 (Autumn, 1985). Pp. 238–243.

## 127

О Петрарке и его роли в ренессансном движении см.: Шайтанов И. О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения. В 2 т. Т. 1. – М.: Владос, 2001; другое издание: Шайтанов И. О. История зарубежной литературы эпохи Возрождения. – М.: Юрайт, 2016.

Byrne, Joseph R. The World of Renaissance Italy: A Daily Life Encyclopedia. 2 vols. Santa Barbara, California: ABC–CLIO, 2017. Vol. 1. P. 353.

# 129

Подробно см.: Dressman, Michael R. “The Suffi x-Ist”.

# 130

Слово *артиллерист* известно как минимум со второй трети XVIII в., *артист* с 1775 г. См.: Словарь русского языка XVIII в. Вып. 1 / Под ред. – С. Г. Бархударова. – Л.: Наука, 1984. – С. 97.

# 131

Яичница всмятку, или Несерьезно о серьезном: Над кем и над чем смеялись в России в 1917 году / Сост. А. П. Ненароков и др.; предисл. В. В. Журавлёва. – М.: Российский независимый ин-т социальных и национальных проблем, 1992. – С. 33.

# 132

Цит. по: Чуковский К. И. От двух до пяти. – М.: Эй-Ди-Лтд, 1994. – С. 177–178 (можно взять любое посмертное издание Чуковского).

# 133

Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2: 1952–1962. – СПб.: Нева; Харьков: Фолио, 1996. – С. 9.

Чуковская Л. К. Моя грач прилетела // Невское время, 10 января 1996 г. [http://www.chukfamily.ru/lidia/prosa-lidia/stati-prosa-lidia/moya-grachpriletela] – Доступ на 10.11.2019.

На самом деле это не совсем так, и об этом мы поговорим в конце главы.

Kabakchi V. V., Doyle C. C. “Of Sputniks, Beatniks, and Nogoodniks”, *American Speech*, Vol. 65, No. 3 (Autumn, 1990). Pp. 275–278.

Webster’s School Dictionary. – Springfield, Massachusets: Merriam-Webster Inc., 1986. P. 932. То же в современной онлайн-версии: [https://www.merriam-webster.com/dictionary/super-] – Доступ на 14.11.2019.

Peterson, Britt. The long strange journey of ‘über’: The company of the moment picked a name with a very pungent history. July 27, 2014. [https://www.bostonglobe.com/ideas/2014/07/26/the-long-strange-journeyuber/6DFRmI3xcKJdXUtljsDktO/story.html] – Доступ на 14.11.2019.

# 139

Hansard's Parlamentary Debates. Vol. CXC. 19 November 1867–20 March 1868. London, 1868. P. 1517. Перевод мой. – *М. Е.*

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык: Учебное пособие для вузов. – М.: Рольф: Айрис-пресс, 1997. – С. 69–70.

# 141

Тредиаковский В. К. Слово о мудрости, благоразумии и добродетели // Тредиаковский В. К. Сочинения и переводы, как стихами, так и прозою. Т. 2. – СПб., 1752. – С. 258.

# 142

О кальках в русском языке XIX в. и о тенденции снижения популярности калькирования см. классическую старую книгу: Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30–90-е гг. XIX в. – М.: Л.: Наука, 1965. – С. 164–170.

# 143

Примеры взяты: *речекряк, преступмысль, Миниправ, Минилюб* – из перевода В. Голышева; *уткоречь, мыслепреступление* – из перевода В. Недошивина и Д. Иванова. *Ангсоц* и *двоемыслие* присутствуют в обоих переводах.

Благодарим за сообщение Антона Евсеева, редактора издательства “Просвещение”.

# 145

Как сообщил нам лингвист и переводчик Дмитрий Лытов (г. Оттава, Канада), этот тип сокращений не уникален для русского языка советской эпохи. Он применялся в немецком в период нацизма, а также, как ни странно, до сих пор продуктивен в иврите.

# 146

Старейшие формы – съвузъ, совузъ. См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 3. – СПб., 1912. Стлб. 664–665.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – С. 871.

Нива Ж. Опыты русского либертена // Нива Ж. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 84.

## 149

О русских кальках французской эротической лексики и фразеологии в пушкинскую эпоху см.: Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. – М.: ОГИ, 2000. – С. 179–181, 243–244.

# 150

Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). Т. 10. – М.: Русские словари, 2000. – С. 48.

# 151

Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958–1961 гг.). Т. 6. – М.: АН СССР, 1963. – С. 76.

# 152

Образцы русских любовных заговоров XVII см.: Русские заговоры из рукописных источников XVII – первой половины XIX в. / Сост. А. Л. Топорков. – М.: Индрик, 2010. – С. 103–105, 140–141.

Людовик, однако, не отменил уголовное наказание за богохульство, а граница между колдовством и богохульством не всегда была юридически ясна. Поэтому отдельные эксцессы преследований за народную магию случались во Франции почти до середины XVIII в.

# 154

Примеры взяты из статьи: Watanabe, Jun-ya. “Gérondif “non-coréférentiel””, Voix plurielles, 2015. No. 12.1. Pp. 207–224. Источником цитаты из Октава Мирбо в статье ошибочно указан рассказ “Беглый огурец”

## 155

Историю знакомства писателей и некоторые интересные документальные источники см.: Богаевская К. Толстой о Чехове: Неизвестные высказывания // Литературное наследство. Т. 68: Чехов. – М.: АН СССР, 1960. – С. 871–875.

## 156

Примеры цит. по: Виноградов В. В. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка. – М.: Л.: Academia, 1935. – С. 208.

Использованы данные Национального корпуса русского языка.

# 158

Примеры взяты из статьи: Багана Ж., Трещева Н. В. Явление калькирования в условиях языкового контакта (на материале канадского национального варианта французского языка) // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 24 (95). – С. 99–109.

# 159

Максимович К. А. Лексические и синтаксические кальки в моравском “Номоканоне Мефодия” // Русский язык в научном освещении. 2009. № 2 (18). – С. 135, прим. 18.

Зеленин А. В., Руднев Д. В. “Уродливый варваризм”: из истории глагольной связки *выглядеть* в русском языке // Русский язык в школе. 2015. № 7. – С. 58–63.

# 161

Аксаков И. С. Письма к родным. 1849–1856. – М.: Наука, 1994. – С. 172.

# 162

Цит. по: Виноградов В. В. Язык Пушкина. – С. 330. Впервые опубликовано: “Новый живописец общества и литературы”, приложение к журналу “Московский телеграф”, 1830, № 19, ч. 35. Полный текст статьи в электронной версии: [https://iknigi.net/avtor-nikolay-polevoy/56352-delat-karer-nikolay-polevoy/read/page-1.html] – Доступ на 7.12.2019.

# 163

Цит. по: Зеленин А. В., Руднев Д. В. “Уродливый варваризм”. – С. 58.

Зеленин А. В., Руднев Д. В. “Уродливый варваризм”. – С. 60.

# 165

Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977. – С. 140–161. Статья впервые опубликована в 1947 г.

# 166

См. напр.: Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык: Учебные пособия для вузов. – М.: Рольф: Айрис-пресс, 1997. – С. 111–114.

И. А. Мельчуку даже приходилось специально пояснять перед англо-язычной аудиторией, что он вкладывает в понятие *phraseme*: Mel'čuk, Igor. "Phrasemes in Language and Phraseology in Linguistics", *Idioms: Structural and Psychological Perspectives*. Ed. Martin Everaert, Erik Jan van der Linden et al. New York: Psychology Press, 1995. Pp. 167–232.

Мокиенко В. М. Рогатый бык, заморенный червяк и кофе по-московски с птичьим молоком // Мокиенко В. М. Образы русской речи: Историко-этимологические и этнолингвистические очерки фразеологии. – Л.: ЛГУ, 1986. – С. 17–30.

## 169

Подробно см.: Рижский М. И. Русская библия: История переводов библии в России. Изд-е 2-е. – СПб.: Авалон: Азбука-классика, 2007. (В переиздании сохранена советская орфография, по которой слово *библия* использовалось как имя нарицательное.)

Подробно см.: Дубровина К. Н. Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре. – М.: Флинта: Наука, 2012.

# 171

Luther, Martin. *Sämmtliche Werke: nach den ältesten Ausgaben*, Bd. 4. Erlangen, 1826. S. 393–395, 402.

# 172

Подробный список латинских фразеологизмов, поговорок и пословиц см.: [http://graecolatini.bsu.by/htm-proverbs/proverbs-latin-transcription-170-ru.htm] – Доступ на 13.12.2019. К сожалению, античные и библейские фразеологические элементы представлены в списке вперемешку, однако для каждого в отдельности источник указан.

# 173

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова; ред. тома и авт. вступ. ст. А. Ф. Лосев; АН СССР, Ин-т философии; 2-е изд., испр. – М.: Мысль, 1986. – С. 226.

# 174

См., напр., одно из старых изданий: C. *Velleii Paterculi Historiae romanae libri duo. Brevibus notis adiectis et indice rerum, etc.* Lipsiae, 1828. P. 63.

## 175

Примеры из разных изданий: Zumpt C. G. *Lateinische Grammatik*. Berlin, 1826. S. 405; Zumpt C. G. *Latin Syntax*. Transl. from German by Charles Beck. Boston, 1838. P. 64; Zumpt C. G. *A Grammar of the Latin Language*. Transl. from German by Leonhard Schmitz. London, 1845. P. 361.

# 176

См. обсуждение этой пословицы на форуме: [http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1406880-kakoj-smysl-vy-vkladyvaete-v-poslovicu-moj-dom-moja-krepost.html] – Доступ на 15.12.2019.

Либерт В. Красота в глазах смотрящего [https://www.stihi.ru/2014/03/31/2843] – Доступ на 15.12.2019.

# 178

*The Christian Miscellany, and Family Visiter*. Vol. 9–10. London, 1863. P. 188.

## 179

Примеры взяты из: Nefedova, Lyubov’ A.; Polyakov, Oleg G. “Set Expressions Borrowed from English into German and Russian: Direct Loans or Calques?”, *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 2015. Vol. 200. P. 83–86. Необходимо оговориться, что эта работа не очень высокого уровня, среди досадных недостатков – слишком нечеткое понимание фразеологизма (во фразеологизмы попали такие словосочетания, как *электронная книга*, которые авторы почему-то считают устойчивыми). Но как источник примеров заимствований она ценна и интересна.

Пер. с англ. Ю. Д. Засецкой.

# 181

Пушкин А. С. Статьи и заметки 1824–1836 // Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 6. – М.: Худ. лит., 1959. – С. 196.

Напр.: Алабугина Ю. В. и др. Универсальный словарь русского языка для школьников. 10 словарей в одной книге. – М.: АСТ, 2017. – С. 365.

# 183

Мокиенко В. М. Образы русской речи: Историко-этимологические и этнолингвистические очерки фразеологии. – Л.: ЛГУ, 1986. – С. 123–125.

Страхов А. Не в своей тарелке да на Ивановской площади // Palaeoslavica. 2011. Vol. 19. No. 2. Pp. 305–307.

Полевой Н. А. Делать карьер [https://iknigi.net/avtor-nikolay-polevoy/56352-delat-karer-nikolay-polevoy/read/page-1.html] – Доступ на 13.12.2019.

[http://www.expressio.fr/expressions/ne-pas-etre-dans-son-assiette.php] – Доступ на 13.12.2019.

# 187

*Nouveau dictionnaire francais – italien, compose sur les dictionnaires de l'academie de France et de la Crusca, enrichi de tous les Termes propres des Sciences et des Arts*. Marseille, 1785. P. 66.

Мокиенко В. М. Образы русской речи. – С. 35–43.

# 189

Примеры на *гамлет-*: Словарь современного русского литературного языка. В 20 т. / РАН, Ин-т русского языка; Изд-е 2-е, перераб. и доп. – М.: Рус. яз., 1991. Т. 3. – С. 34.

# 190

Примеры на *донкихот*: Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесова. – М.: Рус. яз., 1997. – С. 130. Другому словарю, однако, известны лишь *донкихот* и *донкихотствовать* (Современный толковый словарь русского языка / Под ред. – С. А. Кузнецова. – СПб.: Норинт, 2001. – С. 170).

# 191

Об идейных особенностях ренессансной литературы см.: Шайтанов И. О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения. В 2 т. – М.: Владос, 2001 (о “Гамлете” и “Дон Кихоте” см. т. 2); другое издание: Шайтанов И. О. История зарубежной литературы эпохи Возрождения. – М.: Юрайт, 2016.

Досталось Гоббсу и от монархистов после реставрации Стюартов на престоле: его обвинили в намерениях подольститься к Кромвелю (Mintz, Samuel I. *The Hunting of Leviathan: Seventeenth-century Reactions to the Materialism and Moral Philosophy of Thomas Hobbes*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 13). Очевидно, настойчивое употребление Гоббсом слова covenant (“договор”), характерного для лексики пуритан-республиканцев, вызвало недоумение и у тогдашних сторонников монархии.

# 193

Caryl, Joseph. *An Exposition with Practical Observations Upon the Three First Chapters of the Book of Job*. London, 1651. P. 369. По мнению современной библеистики, эта этимология верна, но у глагола lavah есть также значения “извиваться, свивать” (*The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon with an appendix containing the Biblical Aramaic*. Peabody (Mass.), 1999. P. 531). Сердечно благодарю за консультацию Б. Е. Рашковского, востоковеда, научного сотрудника Института всеобщей истории РАН.

## 194

Сам Гоббс всего дважды называет государство Левиафаном – в предисловии и в 17-й главе ч. 2, никак не поясняя, почему он выбрал это слово.

# 195

Можно возразить, что *Шерлок Холмс* и *Левиафан* – имена собственные, а словари не обязаны их включать. Однако уже их употребление говорит о том, что они до некоторой степени стали нарицательными, и у нас есть прецеденты в виде *донкихота*. Кроме того, не все культурные аллюзии представляют собой имена собственные (например, *новояз*), но тем не менее в словари зачастую не включаются.

Тарас Подрез. Геннадий Гудков: “Охранник должен был действовать!” // Известия, 2014.02.03. Здесь и далее примеры из прессы цитируются по Национальному корпусу русского языка [http://ruscorpora.ru].

# 197

Захар Радов. Хомячки не боятся ядовитых скорпионов // Комсомольская правда, 2013.10.25.

# 198

“Лысую” резиновую маску Фантомас носит только в трилогии Андре Юнебеля 1964–1967 гг., наиболее известной российскому зрителю; в остальных киноверсиях на нем черный капюшон.

# 199

Александр Бойко. Банду “Черная кошка” поймал правнук Пушкина // Комсомольская правда, 2007.02.05.

# 200

Юлия Смирнова. 4 варианта зимнего SPA-отпуска // Комсомольская правда, 2007.12.19.

# 201

Александр Бирман. Бизнес-кхмеры // Известия, 2013.01.23.

# 202

Михаил Борзыкин. Звонок сверху – и все решается. Почему Смородская отпустила Ещенко? // Советский спорт, 2013.01.13.

# 203

Елена Клишина. Как выйти из матрицы: план действий. 24 мая 2018. [https://interesno.co/business/e50d04e61c4b] – Доступ на 30.06.2019.

Лысова Юлия. Переводчик, который любил “Рабыню Изауру”. 16 октября 2019. [https://mnogobukv.hse.ru/news/311983190.html] – Доступ на 26.10.2019.

# 205

Львова Валентина. Бразилиада // Комсомольская правда, 2013.06.10.

# 206

Крылатые фразы из фильмов “Бриллиантовая рука” (1968) и “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” (1965) соответственно.

[https://elpais.com/cultura/2013/05/12/actualidad/1368359901_485417.html] – Доступ на 25.06.2019.

“Унесенные ветром” (1939).

# 209

“Крестный отец” (1972).

“Звездные войны. Эпизод IV” (1977).

# 211

Константин Очкал. “Отставка Игоря Слюняева логична и ожидаема” // Комсомольская правда, 2012.04.13.

# 212

Джедай науки пришел: итоги форума “Ученые против мифов – 5” [http://antropogenez.ru/forum5-itogi/] – Доступ на 25.06.2019.

# 213

“Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар” (1980).

“Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов” (2005).

# 215

“Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая” (1983).

См. напр.: Pullum, Geoffrey K. (2005-05-18). “Language Log: Yoda’s syntax the Tribune analyzes; supply more details I will!” [http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/002173.html] – Доступ на 25.06.2019.

[http://risovach.ru/kartinka/11199492] – Доступ на 28.06.2019.

# 218

Мастер Йода анкоры поможет генерить нам. 20.07.2010. [https://searchengines.guru/archive/index.php/t-523634.html] – Доступ на 28.06.2019; авторская орфография и пунктуация сохранены.

# 219

Во время Люка тренировок Йода магистр весом отрицательным обладал. 01.09.2015. [https://www.pvsm.ru/fizika/97362#begin] – Доступна 28.06.2019.

# 220

На магистра Йоду похожа коала эта // Медуза. 19:50, 4 мая 2015. [https://meduza.io/shapito/2015/05/04/na-magistra-yodu-pohozha-koala-eta] – Доступ на 28.06.2019.

# 221

“Впереди засада повстанцев. С камерой”: в “Яндекс. Навигаторе” появились голоса Дарта Вейдера и Йоды // Медуза. 15:29, 8 ноября 2017. [https://meduza.io/shapito/2017/11/08/vperedi-zasada-povstantsev-s-kameroy-v-yandeks-navigatore-poyavilis-golosa-darta-veydera-i-yody] – Доступ на 28.06.2019.

[http://vexer.ru/jokez/joda.php] – Доступ на 28.06.2019.

# 223

Рабочий момент: мы рождены, чтоб русский сделать русским. 02.06.2013. [https://sever-yuga.livejournal.com/184385.html] – Доступ на 26.06.2019; Социальная реклама от магистра Йоды. 4 июля 2016. [https://lehire.livejournal.com/99959.html]; – Доступ на 28.06.2019; Говорить высокимштилем [https://posmotre.li/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC] – Доступ на 28.06.2019.

# 224

Пример из “Бригадира” Д. И. Фонвизина (ок. 1769).

# 225

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейская прародина и расселение индоевропейцев: полвека исследований и обсуждений // Вопросы языкового родства. 2013. № 5 (106). – С. 117, 126–127.

Головко Е. В. Как рождаются языки: Лекция. Опубл. 30.01.2012. // Полит.ру [https://polit.ru/article/2012/01/30/golovko/] – Доступ на 20.12.2019.